

# Глава IV. Цена свободы

“ В переживаемое нами время нужно быть последовательным и верным своим убеждениям вплоть до риска своей головой, потому что эта последовательность и эта верность составляют единственную охрану нашего достоинства. Очень трудно быть последовательным, но позорно не быть таковым.

М. Бакунин

«Часы жизни остановились...» — так писала о времени своего двадцатилетнего заключения в Шлиссельбурге Вера Фигнер. Участь Бакунина, казалось, была легче. Он просидел лишь два года в саксонских и австрийских тюрьмах, лишь семь лет в Алексеевском равелине и Шлиссельбурге и лишь четыре года в сибирской ссылке. Другим действительно приходилось труднее. Но ведь трудность не только в сроке. Главная трудность была в другом. Мог ли человек сознательно и последовательно противостоять той злой воле, которая останавливала часы его жизни? Многие не могли. Предавали себя и других, кончали самоубийством или просто сходили с ума. В биографических книгах о таких людях последняя глава — глава о времени и обстоятельствах их заключения. С Бакуниным, как и с теми другими, кто смог выдержать испытание, все иначе. Мы еще на середине его жизни, и самая деятельная и бурная ее часть впереди.

Итак, этап первый — тюрьмы Саксонии. Камера, архаический сейчас атрибут — цепи, следствия и допросы, допросы... Линия поведения. Об этом следует сказать прежде всего. Ведь для того времени, когда в активе русского революционера мог быть лишь печальный опыт большинства декабристов, когда не было никаких готовых рецептов, когда ценою моральных страданий приобретались еще первые уроки гражданственности и революционной этики перед лицом следствия, поведение каждого зависело только от личной убежденности, личной веры и личного мужества. Долгим и поистине мучительным опытом борьбы за тюремной решеткой, на следственной скамье создали русские революционеры 60— 80-х годов прошлого века правила нравственной и революционной (а не дворянской) чести.

Два главных элемента были в этом правиле: не выдавать товарищей; обращать всякое следствие, а тем более гласный суд в средство пропаганды революционных взглядов. И хотя в той позиции, которую Бакунин занял в Алексеевском равелине по отношению к Николаю I, было что-то от традиций дворянских революционеров (о чем речь ниже), в целом он вел себя с полной ответственностью, с полным сознанием значения своих показаний. Возможно, что не только убежденность и мужество, но и темперамент борца и пропагандиста толкнули его на этот путь. Свойственная ему страсть проповедовать, обращать на путь истины всех

окружающих распространилась и на членов следственной комиссии. В показаниях он не только не скрывал своих взглядов, но, напротив, старался доказать неизбежность революции, обосновать право на революционную борьбу угнетенного большинства. Было ли это только наивностью? Пожалуй, нет. Скорее всего это была активная форма защиты и пропаганды, хотя и с минимальными шансами на успех.

Что же касается конкретных вопросов, предъявляемых следствием, тут ответы Бакунина носили иной характер. Приведем несколько отрывков из протоколов допросов в августе 1849 года.

«По предъявлении письма на русском языке:

— Кем написано это письмо, и напишите сами его фамилию.

— Фамилию лица, написавшего это письмо, я не назову, дабы не замешать его в это дело.

...По предъявлении письма на русинском языке:

— Кем, кому и с какой целью было написано это письмо?

— Это начало письма написано мною и притом не на русинском, а на русском языке латинским шрифтом. Кому это письмо адресовалось, я не скажу.

...По предъявлении четырех писем на русском языке, подписанных „мадам Полудина“:

— Кем и, кому написаны эти письма? Кто такая эта госпожа Полудина? И в каких отношениях вы с нею состояли?

— Все четыре предъявленных мне письма написаны мне одной и той же дамой... Я, однако, категорически отказываюсь что-либо сказать об этой даме, и даже не скажу, является ли подпись на одном из них „мадам Полудина“ ее настоящей фамилией.[139] Точно так же я не скажу, кто другие упомянутые в письме лица и верно ли написали их фамилии. Я вообще отказываюсь дать какие-либо показания относительно обстоятельств этих лиц и моих отношений с ними».[140]

Помимо простого отказа отвечать на те или иные вопросы, Бакунин применял и иной метод. Он пытался запутать следствие, говорил полуправду или давал ложные показания, отрицал совсем те или иные факты. Арестованный с оружием в руках при отступлении из Дрездена, где его участие в восстании было очевидным, он не собирался в основном отрицать своей роли в майских событиях. Однако все, что касалось богемского заговора и подготовки восстания в Праге, он пытался по возможности скрыть, завуалировать, чтобы избавить от репрессий многих участников движения. Подобная тактика была чрезвычайно трудной, так как показания других да и неосторожно сохраненные документы говорили против Бакунина.

Большой ущерб попыткам Бакунина скрыть свои связи с готовящимся восстанием в Праге невольно нанес Реккель. В свое время отправляясь с поручением Бакунина в Прагу, он не передал письма по адресу, а лишь показал их Фричу, Сабине, Арнольду, а затем забыл

уничтожить. Когда же 7 мая он был арестован, то письма оказались при нем, и хотя никаких фамилий там названо не было, но записная книжка, также отобранная у Реккеля при обыске, дополнила следствию картину и по этой части.

Обратимся опять к протоколу допросов. «По предъявлении записки, подписанной „Максимилиан“:

— ...Была ли эта записка адресована другим лицам, чем только упомянутое вами письмо, которое вы также дали Реккелю?

— На этот вопрос я не отвечу, ибо я не желаю называть тех лиц, коим предназначалась эта записка.

Записка заканчивалась словами: „Он является к вам по моему поручению“.

— Скажите, в чем заключалось ваше поручение?

— Поручение заключалось в том, чтобы Реккель „разузнал о положении дел и о настроении в Богемии“. Я же интересовался этим потому, что вообще интересуюсь освобождением славян.

— Почему вы подписались на записке „Максимилиан“?

— Сделал я это потому, что один из господ, которому была адресована эта записка, не выносил моего имени Михаил, а потому в шутку называл меня Максимилианом».

«Один из господ» был Иосиф Фрич. Бакунин прилагал все усилия, чтобы скрыть его роль в заговоре.

«— Знаете ли вы пражского студента Иосифа Фрича?

— Я познакомился во время моего пребывания в Праге в июне прошлого года с неким Фричем. Этот Фрич, имя которого мне неизвестно и относительно которого я лишь предполагаю, что он был студентом, носил славянский национальный костюм и был молодой человек небольшого роста, но красивой наружности.

— В каких отношениях находились вы с этим Фричем?

— Отношения мои с Фричем носили характер поверхностного знакомства, и я не преследовал с ним никаких практических целей; не было у меня с ним и переписки...

— Что вам известно о политической деятельности Фрича и о его политических связях?

— Ровно ничего, впрочем, знай я даже что-нибудь, я бы этого не сказал».[141]

Но если Бакунин пытался скрыть Фрича, то Фрич и не думал сделать того же в отношении как Бакунина, так и других участников заговора. Его откровенные показания граничили с

прямым предательством. Однако награда за такое поведение была невелика. В 1851 году, когда закончилось следствие в Австрии, Фрич по окончательному приговору получил 18 лет каторги, в то время как другие его товарищи были осуждены на 20 лет.

Почти никому из руководителей восстания не удалось избежать ареста. Первое время (более трех месяцев) они содержались в тюрьмах Дрездена. По воспоминаниям А. Реккеля, русский революционер считался самым опасным из всех заключенных. «Ему даже приписывались как бы сверхчеловеческие силы. Прогулка на маленьком дворике, окруженном двумя зданиями и двумя высокими стенами, ему была разрешена только позже по предписанию врача, да и то на прогулку его выводили закованным в цепи, что не делали ни с кем из остальных» (т. IV, стр. 389).

Однако среди простых солдат, охранявших заключенных, нашлись люди, передававшие русскому узнику, несмотря на строгий запрет, книги, бумагу и письма.

Вскоре, опасаясь побега заключенных, власти перевели Бакунина, Реккеля и Гейбнера в сильно укрепленную крепость Кенигштейн, расположенную на берегу Эльбы. Но и здесь сочувствие солдат охраны дошло до того, что заключенным был предложен побег. «Гейбнер отклонил предложение, — вспоминает Реккель, — я и Бакунин изъявили свою готовность». Когда все, казалось, было готово, начальство заподозрило неладное. В камерах был произведен обыск, гарнизон сменен, и приняты более строгие меры охраны.

Как же чувствовал себя этот беспредельно энергичный человек в тюремной камере? Заключение было, конечно, тяжело для него, но не трагично. И хотя он написал однажды: «Теперь я — ничто, т. е. только думающее, значит не живущее существо», однако жизнь умственная всегда была неотъемлемой частью его натуры. Пессимизма же, разочарованности в революционном деле, как это случалось с некоторыми, оказавшимися за тюремной решеткой, он не испытывал. К тому же он продолжал борьбу, на этот раз борьбу со следственной машиной. Допросы, письменные показания, переписка и беседы с защитником Францем Отто занимали немало времени. Кроме того, он усиленно занимался математикой, много читал, переписывался с друзьями. Даже цепи, в которых его выводили на прогулку, не смущали его. «Может быть, это тоже символ, чтобы напомнить мне в моем одиночестве о тех невидимых узах, которые связывают каждого индивидуума со всем человечеством» (т. IV, стр. 120), — иронически писал он Матильде Рейхель.

А тем временем участь кенигштейнского узника сильно беспокоила его друзей. Газеты писали о неизбежном смертном приговоре. «Все мне говорят о твоём конце, — писал Бакунину Рейхель, — но я не хочу этому верить. Нет, ты будешь жить... Правда, я ко всему готов. Есть ли какая-нибудь гнусность, какая-нибудь бессмыслица, которые были бы невозможны в настоящее время. Мы все пойдем по пути, которым, быть может, ты теперь идешь, дай бег, завершить его и нам с такой же честью, как и тебе».[142]

Ожидания смертного приговора не могли, очевидно, не волновать и самого Бакунина, однако никаких переживаний на этот счет нет в его письмах. Один лишь раз в письме к Рейхелю он бросает фразу, свидетельствующую о том, что не всегда спокойно бывает у него на душе: «Когда мне плохо, то я вспоминаю мою любимую поговорку: „Перед вечностью все

ничто“ и на этом баста». Но в том же письме он дает следующую идиллическую картину своей тюремной жизни: «Что касается меня, то я здоров, спокоен, много занимаюсь математикой, читаю теперь Шекспира и изучаю английский язык — математика в особенности является очень хорошим средством для абстракции, а ты знаешь, что я всегда имел отменный талант к абстракции, а теперь я волей-неволей очутился в абстрактном положении» (т. IV, стр. II). Это, конечно, каламбур. Из других его писем можно понять, что математика, в частности высшая тригонометрия, которой он главным образом занимался, не была для него уходом в мир абстрактных представлений. Напротив, это было конкретное знание. «Я теперь... не жажду ничего иного, кроме положительного знания, которое помогло бы мне понять действительность и самому быть действительным человеком. Абстракции и призрачные хитросплетения, которыми всегда занимались метафизики и теологи, противны мне. Мне кажется, я не мог бы теперь открыть ни одной философской книги без чувства тошноты» (т. IV, стр. 17).

«Вообще, — пишет он в другом месте, — у меня нет ни малейшего интереса к теории, ибо уже давно, а теперь больше чем когда-либо, я почувствовал, что никакая теория, никакая готовая система, никакая написанная книга не спасет мира. Я не держусь никакой системы: я искренне ищущий» (т. IV, стр. 98).

Любовь к математике и музыке всегда объединяла Рейхеля и Бакунина. И теперь в их переписке эта тема проходит через все письма.

«Что поделявает музыка? — спрашивает Бакунин. — Сочинил ли ты что-нибудь новое? Как обстоит дело с обещанной мне симфонией?»

«Математика должна заменить тебе музыку, — пишет Рейхель. — Как охотно я тебе сыграл бы что-нибудь теперь в утешение, как некогда играл для развлечения... Ты спрашиваешь меня о моей музыке, о твоей симфонии. Ты ее получишь, если только бог оставит нас в живых и если не иссякнет во мне вконец музыкальная жилка».[143]

«Ради бога не давай заглухнуть своей музыкальной жилке, — отвечает Бакунин. — Из всех видов искусства музыка одна имеет теперь право гражданства в мире, ибо там, где говорят пушки и сама действительность, поэзия должна молчать. Живописи пришлось живописать бы только безобразное, а о скульптуре я уж и вовсе не говорю... Архитектура еще не нашла нового божества, которому она могла бы воздвигать храмы, и должна довольствоваться постройкой теплых и удобных зал для болтающих парламентов. Музыка одна имеет место в нынешнем мире именно потому, что не претендует на высказывание чего-либо определенного и выражает только общее настроение, великое тоскующее стремление, коим преисполнено наше время. Поэтому она должна быть великим и трагическим искусством» (т. IV, стр. 19).

Пока, сидя в одиночной камере крепости, Бакунин был погружен в свои занятия и мысли, саксонская судебная машина работала полным ходом. В обвинительном акте, предъявленном ему, значилось, что он «состоит эмиссаром Ледрю-Роллена для возмущения славянских народов, для обращения их в республику и для возбуждения войны между Пруссией и Россией; также послан от парижского революционного комитета с особым

поручением в Великое Герцогство Познаньское и для убийства российского императора и, наконец, в Берлине состоял в тесной связи с левою партией» (т. IV, стр. 27).

На основании всех этих мифических «преступлений» 14 января 1850 года суд первой инстанции приговорил Бакунина и двух его товарищей, Гейбнера и Реккеля, к смертной казни.

«Итак, Вы уже знаете, что я приговорен к смерти, — сообщал Бакунин Матильде Рейхель. — Теперь я должен сказать Вам в утешение, что меня уверили, будто приговор будет смягчен, т. е. заменен пожизненным заключением в крепости. Я говорю „Вам в утешение“ потому, что для меня — это не утешение. Смерть была бы мне куда милее. Право, без фраз, положи руку на сердце, я в тысячу раз предпочитаю смерть. Каково всю жизнь... сидеть в одиночестве, в бездействии, никому не нужным в крепости за решеткой, просыпаясь каждый день с сознанием, что ты заживо погребен и что впереди еще бесконечный ряд таких безотрадных дней!» (т. IV, стр. 21). Да, действительно, перспектива была бесконечно мрачной, и тем не менее Бакунин, так же как и его товарищи по процессу, обжаловал приговор.

Адвокат Бакунина — Франц Отто, очень хорошо относившийся к своему подзащитному и много помогавший ему, получил три недели срока на составление новой защиты. Кроме того, по саксонским законам, подсудимый имел право и на собственную защиту. Бакунин и Гейбнер решили использовать это право в интересах политического освещения процесса. Гейбнер успел составить свою «самозащиту», Бакунин же, принявшийся за дело слишком обстоятельно и вместе с тем не спеша, опоздал.

«Защита» его, разросшись размером до четырех печатных листов, так и осталась незавершенной. Однако материал этот представляет собой большой интерес. Только изложив свои подлинные взгляды на положение дел в России и Европе, считает Бакунин, только выразив полностью свое политическое кредо, он сможет опровергнуть вздорное обвинение суда. С этой целью он излагает свои взгляды на положение дел в России, славянских странах, Австрии и Пруссии. В этой части «защита» перекликается с его анонимной брошюрой «Русские дела». Так же как и в брошюре, высказывание политических взглядов служит здесь двум целям: познакомить Европу с положением дел в стране, малоизвестной на Западе, обосновать свое участие в европейской революционной борьбе. Вяч. Полонский называет «защиту» первой «Исповедью» Бакунина. Отчасти он прав. И там и здесь автор исходит из одних посылок: мир столь плохо устроен, что разумный и честный человек не может не бороться против существующих общественных систем. Но в «Исповеди» много и других акцентов, обусловленных обстоятельствами ее написания. «Защита» же проще, яснее.

Одна из основных мыслей этого документа состоит в том, чтобы объяснить следствию свою главную цель — освобождение России. Не имея возможности в пределах своего отечества вести открытую борьбу с царизмом, Бакунин бросается в европейское революционное движение. На баррикадах Праги и Дрездена он ищет пути к свободе русского крестьянина. Эту мысль высказывает он не только в своей «Защите». В письме к М. Рейхель, написанном после приговора, он говорит: «Чего я хотел, я скажу Вам, дорогой друг, поскольку я могу позволить себе здесь говорить свободно: я бросился между славянами и немцами...

бросился, чтобы предотвратить гибельную борьбу и повести их соединенные силы против русской тирании, не против русского народа, нет, а для его освобождения. Это было гигантское предприятие».

Дальнейший текст этого письма многое объясняет в позиции Бакунина. «Я был один, не имея ничего, кроме доброй, честной воли, и, может быть, меня могли упрекнуть в том, что, с моей стороны, было донкихотством думать о такой гигантской работе. Я же рассчитывал на более продолжительный прилив движения. Я ошибся в расчете: отлив наступил раньше, чем я ожидал, [Курсив мой. — Н. П.] и вот я засел в Кенигштейне, на самой высокой точке Саксонии. Собственно, Дрезден был для меня случайностью; но в нем-то как раз и я потерпел кораблекрушение» (т. IV, стр. 22).

Кораблекрушение Бакунин считал полным. Надежд на освобождение у него не было. 6 апреля 1850 года Высший апелляционный суд Саксонии утвердил смертный приговор Бакунину, Реккелю и Гейбнеру, вынесенный судом первой инстанции. Осужденным предложили подать королю прошение о помиловании. «Бакунин отказался, — пишет Герцен, — и заявил, что единственно, чего он боится, — это снова попасть в руки русского правительства, но поскольку его собираются гильотинировать, он ничего против не имеет, хотя предпочитал бы лучше быть расстрелянным! Адвокат сообщил ему, что у одного из его сотоварищей остаются жена и дети и что тот, возможно, согласился бы подать просьбу о помиловании, но не решается, узнав об отказе Бакунина. „Скажите ему, — тотчас отвечал Бакунин, — что я согласен, что я подпишу петицию“».[144] Этому сообщению Герцена, кажется нам, можно верить, так как психологически оно совпадает с линией поведения Бакунина во время следствия. Так или иначе, но прошение было подано и тяжелый период ожидания окончательного приговора продлен.

В это время большой поддержкой для Бакунина стали частые письма Адольфа и Матильды Рейхель. Известным утешением для него были и сведения об Иоганне Пескантини, которые сообщали ему друзья. «Иоганна — благороднейшая из известных мне женщин, правдивая и непоколебимая в своей верности, — писала Матильда, — она Вас любит, Бакунин, она наверно отдала бы свою жизнь, чтобы облегчить Ваше положение, чтоб Вас утешить».[145]

После долгой внутренней борьбы, оставив мужа, Иоганна поселилась в Копенгагене. Из письма ее к Матильде, предназначенного для прочтения Бакуниным и пересланного ему, становятся ясными некоторые обстоятельства их отношений в 1845 году. Очевидно, тогда она отказалась от предложения Бакунина соединить свою судьбу с ним. Теперь она писала: «Б. сомневается в моем счастье — я его и не искала; когда добровольно расстаешься с теми, кого любишь, тогда отрекаешься от счастья. Он сомневается в моем спокойствии, но в этом он отчасти ошибается. Сознание, что остаешься верной себе в тяжелом положении, доставляет спокойствие... Наконец он не верит, чтоб я могла сохранить мое достоинство; но разве достоинство зависит от внешних обстоятельств? Если мы побеждаем обстоятельства, а не обстоятельства нас, то наше достоинство спасено...

Если б сердце Б. не было сильнее соображений его рассудка, то находился ли бы он там, где он сейчас? Разве его позорят пепи, которые ему приходится носить в известные часы. Благодарение богу! наше достоинство в нас самих, его никто у нас отнять не может, кроме

нас самих».[146]

Бакунин не виделся более с Иоганной. Умерла она в 1856 году, когда он был в Шлиссельбурге. Узнал же он об этом лишь два года спустя, находясь в Томске. Свое письмо А. Рейхелю в ответ на это известие он кончил словами «бедная Иоганна».

Два долгих месяца ждали Бакунин и его товарищи по процессу ответа на прошение о помиловании. 12 июня 1850 года им, наконец, было объявлено решение короля. Смертная казнь всем троим — Бакунину, Гейбнеру и Реккелю заменялась пожизненным заключением. Гейбнер и Реккель остались в тюрьмах Саксонии,[147] Бакунина же ждало новое следствие, на этот раз в Австрии.

Австрийские власти торопились. На другой же день, 13 июня, в половине второго ночи Бакунин был разбужен, закован в кандалы и под сильным конвоем доставлен на австрийскую границу.

«В продолжение всей этой процедуры, — сообщает конвойный офицер, — Бакунин вел себя молчаливо и сдержанно». 14 июня он находился уже в австрийской тюрьме в Праге. Австрийское правительство давно ожидало сведений, которые оно надеялось получить от него. И хотя многое было известно из показаний братьев Страка, Сабины, Фрича и других участников движения, арестованных ранее, однако роль Бакунина казалась австрийским властям более значительной и сведения, какими он мог располагать, более важными.

Генерал Клейнберг, руководивший следственной комиссией в Праге, 11 марта 1851 года сообщал эрцгерцогу: «После того как выявилась наличность революционных происков в мае 1849 года и начато было по этому поводу следствие, скоро выяснились данные, не оставлявшие сомнения в том, что замышленная здесь революция была скомбинирована с грандиозным движением, задуманным в Германии, и что русский Михаил Бакунин, проживавший тогда тайно в Дрездене, стоял во главе этого предприятия». И далее — «приходится признать, что русский Бакунин является, по-видимому, той осью, вокруг которой все вертелось» (т. IV, стр. 414).

Необычность и действительно огромный диапазон деятельности русского революционера весьма беспокоили австрийские власти. Его боялись, считали одним из самых опасных людей в Европе. Полагали, что и теперь, за толстыми стенами тюрьмы, окруженный многочисленной стражей, он невидимыми нитями может связаться с волей и бежать. Режим, созданный ему, был чрезвычайно строг. Саксонские тюрьмы могли показаться раем по сравнению с той обстановкой, какая окружила здесь Бакунина. Лишенный права переписки, защиты, охраняемый 18 солдатами специального караула, Бакунин страдал от полного отсутствия, хотя бы в письмах, общения с понимающими его людьми.

Слухи о готовящемся освобождении столь важного «государственного преступника» международным «заговором революционных вожаков» не давали покоя австрийским властям. Крепость св. Георгия в Праге показалась им недостаточно надежной.

В ночь с 13 на 14 марта Бакунина под сильным военным эскортом перевели в крепость Ольмюц. Вот какую «акварель», по выражению Вяч. Полонского, нарисовал Герцен, говоря



об этом эпизоде: «Бакунина, связанного, везли под сильным конвоем драгун; офицер, который сел с ним в повозку, зарядил при нем пистолет.

— Это для чего же? — спросил Бакунин. — Неужели вы думаете, что я могу убежать при этих условиях?

— Нет, но вас могут отбить ваши друзья: правительство имело насчет этого слухи, и в таком случае...

— Что же?

— Мне приказано посадить вам пулю в лоб».[148]

В новом месте заключения Бакунина помещают в строго изолированную камеру, приковывают цепью к стене, лишают письменных принадлежностей, устанавливают караул из 22 рядовых, 2 ефрейторов и капрала.

15 апреля снова началась серия допросов. Положение Бакунина усугублялось теперь тем, что австрийская следственная комиссия располагала полными и весьма подробными показаниями братьев Страка, Сабины, Арнольда, Реккеля и других привлеченных к делу. Однако тактика Бакунина оставалась неизменной. На вопрос: «Каковы были ваши политические идеи, в частности по отношению Австрии?» — следовал ответ: «Мое личное убеждение, что австрийская монархия совершенно несовместима с понятием о свободе и может существовать лишь при помощи насилия».

На вопрос же: «Кто были те лица, с которыми вы вступили в сношения по этому поводу для достижения ваших желаний?» — ответ носил уже другой характер: «Моя совесть не позволяет мне назвать лиц, с которыми я был в сношениях по этому поводу, дабы никого не скомпрометировать; если же имеются специальные факты или показания других лиц, то прошу их предъявить...»[149]

Аудитор Франц пытается задавать вопросы в такой форме, которая заставила бы подсудимого невольно проговориться. Но Бакунин держится твердо: «Я должен здесь заявить, что вдаваться в подробности относительно отдельных лиц совершенно противоречит моему принципу, однажды мной уже высказанному. Я допускаю, что многое стало известным благодаря показаниям лиц, допрошенных во время следствия. Если, например, братья Страна многое рассказали, то они и отвечают за содержание своих речей. Я же могу отвечать только на определенные вопросы, но отнюдь не на вопросы общего характера, ибо могло случиться, что то или иное обстоятельство, то или иное лицо вообще ускользнули от следствия, и ответами общего характера я рисковал бы кого-либо скомпрометировать».[150]

14 мая допросы были закончены. На следующий день состоялся суд, приговоривший Бакунина к смертной казни через повешение и к уплате судебных издержек. Впрочем, тут же смертная казнь была заменена пожизненным заключением. Однако как первый, так и второй вариант приговора был лишь трагическим фарсом, разыгранным австрийскими властями. Участь Бакунина была решена задолго до суда. Он должен был быть выдан

России.

Еще в июне 1849 года начальник австрийских войск в Кракове сообщил об аресте Бакунина и о возможности передачи его русским властям. 15 июня 1849 года граф Орлов предписал «его благородию жандармского полка господину поручику Жидикову» немедленно отправиться из Варшавы в Краков в сопровождении одного унтер-офицера и двух рядовых и принять от генерал-лейтенанта Соболева «политического преступника Бакунина, закованным со всевозможной осторожностью и доставить его в Александровскую цитадель в Варшаве, где и сдать коменданту оной цитадели под расписку, которую предоставить мне».[151]

Однако царские жандармы спешили пока напрасно. Саксонское правительство сначала решило само судить Бакунина, затем следствия над ним потребовала Австрия. Но дальше иметь дело со столь опасным преступником австрийцы не собирались. Еще за два месяца до окончания следствия наместник в Богемии барон фон Мечери писал министру внутренних дел Александру Баху: «В течение марта последует, вероятно, произнесение приговора... Приговор, по-видимому, будет гласить: смертная казнь с заменой ее пожизненным заключением.

Как дальше поступать с Бакуниным — уже государственное дело, превосходящее компетенцию следственных комиссаров.

Что бы с ним ни произошло, будет ли он посажен в крепость или выдан России, безусловно, необходимо, чтобы он был удален отсюда немедленно по объявлении приговора и даже в тот же день вечером. Это удаление следует осуществить путем отправки его в отдельном железнодорожном поезде с достаточным конвоем и в сопровождении полицейского комиссара, причем надо принять предосторожности: сказать ему самому, что его отправляют в крепость. При его решительном характере... следует ожидать, что он с величайшей отвагой ухватится за всякую возможность избежать выдачи даже путем самоубийства».[152]

В том же марте с необыкновенной пунктуальностью были разработаны все детали плана доставки Бакунина на русскую границу. Выехать должны были ночью. Для того чтобы известие о перевозке Бакунина не дошло до «его партии» в Пруссии телеграфным путем и не могло вызвать попытку его освободить, предлагалось прекратить передачу частных телеграмм «перед перевозкой и во время ее». В случае болезни Бакунина по дороге следовало доставить его на ближайшую станцию, «где имеются войска и можно вызвать подкрепления».

По ту сторону границы русские власти тоже проявляли беспокойство немалое. Уже 7 марта граф Нессельроде известил графа Орлова о том, что Бакунин, «по всей вероятности, будет доставлен в Краков для передачи». Получив это сообщение, царь распорядился отправить навстречу ему полковника корпуса жандармов Распопова с жандармами, поручив ему заковать преступника в ручные и ножные кандалы и доставить в Санкт-Петербург. Однако выехавшим в конце марта на границу жандармам пришлось там ждать более месяца.

Наконец все формальности и все приготовления в Австрии были закончены.

Как и было запланировано заранее, Бакунин был разбужен ночью неожиданным шумом. Двери открывались, щелкали замки, слышались шаги конвоя. Наконец смотритель тюрьмы с группой офицеров и солдат вошли в камеру. Бакунину приказали одеться. В цепях, в закрытом экипаже довели его до станции железной дороги, где ждал уже специальный поезд. Куда везут его, Бакунин не знал. Но вот 17 мая его вывели из темного вагона на освещенную солнцем станцию, и он увидел русских солдат. И хотя единственно, чего боялся этот мужественный человек, — была выдача российскому правительству, здесь, сейчас, лицом к лицу с совершившимся фактом, он... обрадовался.

«Ну поверишь ли, Герцен, я обрадовался, как дитя, хотя не мог ожидать ничего хорошего для себя, — так, по словам Н. А. Тучковой-Огаревой, рассказывал он впоследствии. — Повели меня в отдельную комнату, явился русский офицер, и началась сдача меня, как вещи... Австрийский офицер, жиденький, сухощавый, с холодными, безжизненными глазами, стал требовать, чтобы ему возвратили цепи, надетые на меня в Австрии. Русский офицер, очень молоденький, застенчивый, с добродушным выражением в лице, тотчас согласился... Сняли австрийские кандалы и немедленно надели русские.

Ах, друзья, родные цепи мне показались легче, я им радовался и весело улыбался молодому офицеру, русским солдатам.

— Эх, ребята, — сказал я, — на свою сторону, знать, умирать.

Офицер возразил: „Не дозволяется говорить“. Солдаты молча с любопытством поглядывали на меня».

Приказ о том, куда везти Бакунина в Петербурге, Распопов получил, лишь подъезжая к городу. «Наш офицер, — сообщал Дубельт Орлову, — вручил Распопову повеление вашего сиятельства в Красном Селе, и Бакунин отведен прямо в крепость и заключен в Алексеевский равелин, о чем есть уже донесение коменданта», и далее следовала приписка, характерная для донесений Дубельта: «В городе совершенная тишина и все благополучно».[153]

Известия о доставке Бакунина с нетерпением ждали в Зимнем дворце. Ждал царь. Ждал наследник престола. «Наконец» — эта выразительная надпись будущего царя Александра II осталась на донесении графа Орлова о благополучном помещении преступника в 5-ю камеру Алексеевского равелина. На ходатайстве Дубельта о награждении Распопова за миссию орденом Анны 2-й степени Николай I написал: «Согласен. Пора приступить к допросу». Это было 21 июня.

Однако прошло еще более месяца, а допроса не последовало. Собственно, его не было и потом. В течение двух месяцев никто не вызывал Бакунина из камеры, ни о чем его не спрашивали. В чем же было дело? Ведь не за тем же царь добивался выдачи этого важного «преступника», чтобы замуровать его именно в русской крепости. Напротив, Бакунин был чрезвычайно важен Николаю, как возможный источник информации о европейской революции и прежде всего о польских делах. Заговор в Польше — вот что больше всего тревожило императора. Но как получить эти сведения от человека, столь непреклонно

дернувшегося на предыдущих следствиях? Здесь нужна была особая психологическая тактика. Николай же в подобных делах был весьма сведущ. Да и вообще в уме нельзя было отказать этому самодержцу. Он прекрасно понимал, что противник его личность незаурядная, что простыми и грубыми методами здесь ничего не добьешься. Видно, немало передумал царь за эти два месяца. Видно, и колебания были у него, раз не решился он начать допроса, о котором сам же писал.

«Вели сделать мне подробную выписку», — написал он 28 июня 1851 года, просмотрев материалы судебного процесса, любезно присланные ему из Австрии.

Положение складывалось, казалось бы, престранное. По одну сторону Невы, в Зимнем дворце, во всемогуществе власти находился император всероссийский, по другую — за толстыми стенами Петропавловской крепости и Алексеевского рavelина сидел в камере узник, лишенный всего... всего, кроме внутренней силы сопротивления. И так велика могла быть эта сила, что самодержец при всей его власти так мог и не узнать ничего. По существу, это был поединок, поединок, исход которого казался спорным многим позднейшим исследователям.

Наконец тактика была выработана. После того как узник, казалось, забытый всеми, должен был прийти в отчаяние, к нему в камеру явился граф Орлов.

«Государь прислал меня к вам и приказал вам сказать: скажи ему, чтоб он написал мне, как духовный сын пишет к духовному отцу. Хотите вы писать?»

«Я подумал немного, — писал впоследствии Бакунин, — и размыслил, что перед juri, при открытом судопроизводстве, я должен был бы выдержать роль до конца, но что в четырех стенах, во власти медведя, я мог без стыда смягчить формы, и потому потребовал месяц времени, согласился и написал в самом деле род исповеди, нечто вроде *Dichtung und Wahrheit*[154] (т. IV, стр. 366)».

Подробнее никому, кроме М. П. Сажина, о содержании «Исповеди» Бакунин не рассказывал. Полный текст этого документа был обнаружен в архивах III отделения только после революции и опубликован в 1921 году. Сразу же вокруг этого вопроса возникла целая литература. Большинство писавших упрекали Бакунина в покаянии перед царем, обвиняли в разочарованности и отказе от борьбы. Даже анархисты ополчились на своего кумира. Так, лидер анархо-синдикализма И. Гросман-Рощин опубликовал патетическую статью «Сумерки великой души», где писал о полной внутренней моральной катастрофе Бакунина, основой которой были черты и ранее (в доанархистский период) свойственные ему. «...Кажется, будто Бакунин беседует с самим собой, будто государь — придуманная фигура, категория духа самого Бакунина, это просто тот „черт“, который явился к Ивану Карамазову и который на самом деле был демон его собственной души».[155]

Увидел разочарованность Бакунина в революционной борьбе, уход от нее и такой вдумчивый и в общем объективный исследователь, как Вяч. Полонский. Правда, Ю. Стеклов отнесся к вопросу иначе. Он решил, что это была попытка обмануть царя, предпринятая Бакуниным с надеждой на освобождение. Примерно ту же точку зрения высказывал Сажин в

беседе с Полонским: «Он непрерывно думал о том, как бы найти способ к освобождению. Вдруг к нему является Орлов и говорит, что Николай просит его написать „Исповедь“. У Бакунина мелькнула мысль, не это ли и есть путь к свободе».[156]

Обратимся к самому документу. Он чрезвычайно сложен. Рассматривать его изолированно от предыдущих взглядов и акций Бакунина, как это делали отдельные исследователи, нельзя.

Сложность его прежде всего в двухплановости. «Вымысел и правда» — в этих словах Бакунина, пожалуй, и есть ключ к пониманию смысла «Исповеди». Правда здесь явно превалирует. Правдив в целом весь рассказ о действиях самого «кающегося грешника». Что еще важнее, правдивы и глубоко искренни места о революции во Франции, о «благородных увриерах», в которых там много «самоотвержения, столько истинно трогательной честности, столько сердечной деликатности»; о положении России, ее внутренней и внешней политике.

Можно смело утверждать, что никто за все царствование Николая не посмел сказать ему в глаза хотя бы такую правду: «Когда обойдешь мир, везде найдешь много зла, притеснений, неправды, а в России, может быть, более, чем в других государствах. Не от того, чтоб в России люди были хуже, чем в Западной Европе; напротив, я думаю, что русский человек лучше, добрее, шире душой, чем западный; но на Западе против зла есть лекарство: публичность, общественное мнение, наконец, свобода, облагораживающая и возвышающая всякого человека. Это лекарство не существует в России. Западная Европа потому иногда кажется хуже, что в ней всякое зло выходит наружу, мало что остается тайным. В России же все болезни входят внутрь, съедают самый внутренний состав общественного организма. В России главный двигатель страх, а страх убивает всякую жизнь, всякий ум, всякое благородное движение души... Русская общественная жизнь есть цепь взаимных притеснений: высший гнетет низшего; сей терпит, жаловаться не смеет, но зато жмет еще низшего... Хуже же всех приходится простому народу, бедному русскому мужику, который, находясь на самом низу общественной лестницы, уже никого притеснять не может и должен терпеть притеснения от всех по этой русской же пословице: „Нас только ленивый не бьет“».[157] Сказав о взяточничестве и продажности всего бюрократического аппарата и вместе с тем о страхе чиновничества перед царем, Бакунин продолжает: «Один страх не действителен. Против такого зла необходимы другие лекарства: благородство чувств, самостоятельность мысли, гордая безбоязненность чистой совести, уважение человеческого достоинства в себе и других и, наконец, публичное презрение ко всем бесчестным, бесчеловечным людям, общественный стыд, общественная совесть! Но эти качества... цветут только там, где есть для души вольный простор, не там, где преобладают рабство и страх; сих добродетелей в России боятся, не потому чтоб их не любили, но опасаясь, чтоб с ними не завелись и вольные мысли...»[158]

Отрывки эти, которые можно умножить, напоминают скорее публицистическую статью, предназначенную для бесцензурной печати, чем покаяние.

Это все правда «Исповеди», но ведь есть и «вымысел», Он главным образом представлен двумя линиями: антинемецкой (или вообще антиевропейской) и панславистской. За

подобные места действительно можно упрекнуть Бакунина, хотя тут же следует отдать должное его проницательности. Расчет его был верен. Критика развращенности и безверия на Западе импонировала Николаю.

«Разительная истина», — написал он на полях против этого места. Меньший успех вызвали призывы Бакунина к царю возглавить славянское движение, объединить всех славян под своей эгидой. Этот ход вызвал лишь ироническую реплику Николая: «Не сомневаюсь, т. е. я бы стал в голову революции славянским Mazaniello, спасибо!»

Характерен тон, в котором Бакунин как бы ведет беседу с Николаем. «Я думаю, что в России более чем где будет необходима сильная диктаторская власть, которая бы исключительно занялась возвышением и просвещением народных масс — власть свободная по направлению и духу, но без парламентских форм; с печатанием книг свободного содержания, но без свободы книгопечатания; окруженная единомыслящими, освещенная их советом, укрепленная их вольным содействием, но не ограниченная никем и ничем».[159]

Эта схема власти просвещенного абсолютизма тоже относится к области вымысла, но звучит она как совет царю. Подобных приемов в «Исповеди» много. Бакунин, как всегда, поучает и проповедует. Проповедует как там, где говорит правду, так и там, где прибегает к вымыслу. И тот и другой жанры в «Исповеди» чередуются. Вымысел нужен ему для того, чтобы прикрыть правду. В целом же, чтобы это уникальное произведение имело действительно вид «Исповеди», нужны были и прямые тексты. И эта форма была соблюдена Бакуниным:

«Да, государь, буду исповедоваться Вам, как духовному отцу, от которого человек ожидает не здесь, но для другого мира прощения; — и прошу Бога, чтоб он мне внушил слова простые, искренние, сердечные, без ухищрения и лести, достойные, одним словом, найти доступ к сердцу Вашего императорского величества».

Подобных «покаянных» мест не так уж мало в «Исповеди». В том же стиле и подпись под документом: «Потеряв право называть себя верноподданным Вашего императорского величества, подписываюсь от искреннего сердца кающийся грешник Михаил Бакунин».

То, что покаяние — это только форма, кажется нам бесспорным, по меньшей мере странно на основании этих слов обвинять Бакунина в отходе от революционных принципов. То, что он сохранил свои революционные позиции, станет ясно из его последующих писем из крепости. Да и вообще не следует, кажется мне, путать принципиальные основы взглядов с тактикой в тот или иной момент. Для Бакунина в тех конкретных условиях, «во власти медведя», это была именно тактика. Но почти все историки подобную тактику считали унижительной для достоинства революционера. Возможно, что с позиций XX века они были правы. Но ведь речь-то идет совсем о другом времени и других нравах. Как дворянин, ничуть не унижая своего достоинства, он мог в такой форме обратиться к первому дворянину империи.

Честь же свою как революционера и честного человека он спас другим бесспорным способом: он никого не скомпрометировал. «Ведь на духу никто не открывает грехи других,

только свои... нигде я не был предателем... И в Ваших собственных глазах, государь, я хочу быть лучше преступником, заслуживающим жесточайшей казни, чем подлецом».

Против этого места Николай I написал на полях: «Этим уже уничтожается всякое доверие; ежели он чувствует всю тяжесть своих грехов, то одна полная исповедь, а не условная, может почестся исповедью».

Ничего не узнал Николай и о «польском заговоре». Говоря о своих отношениях с поляками, Бакунин делал акцент на те слухи о его шпионстве, которые имели место в польской среде. Этим он старался подчеркнуть, что никакого доверия у поляков к нему не было и что тем самым он не мог ничего знать об их планах. Полонский полагает, что так и было в действительности. Мне же кажется, что все его польские контакты конца 1848 — начала 1849 года говорят об обратном. По крайней мере Бакунин не рассказал многое из того, что известно по его переписке.

Каково же место «Исповеди» в общей линии поведения Бакунина с момента ареста? Как говорилось выше, Бакунин с самого начала принял тактику: ничем не компрометировать товарищей по борьбе, ничего не скрывать из своих политических взглядов. Можно с уверенностью сказать, что в главном и основном линию эту он выдержал и в Алексеевском равелине. Его отступления в виде наивных попыток распропагандировать царя революционно-самодержавными вариантами организации славянского мира, его хитроумные комплименты Николаю, его «покаяния» в тех исторических условиях, о которых речь была выше, не являются основанием для строгого осуждения.

Он хотел бороться дальше. Не жить просто, а именно бороться. Для получения хоть малейшей надежды на возможность свободы, равносильной для него с борьбой, он пошел лишь на хитрость, но не на предательство.

Кто же выиграл в этой партии, где ставками были ум, воля и хитрость? Можно сказать, что игра кончилась вничью. Царь не получил нужных ему сведений. Узник не получил каторги взамен равелина, о чем он и просил Николая.

13 августа «Исповедь» легла на стол Дубельта. После переписки она была представлена царю. Читал он ее чрезвычайно внимательно. Кое-что отмечал на полях, хвалил отдельные места, направленные против «разлагающегося» Запада и немцев, высказывал недовольство тем, что не находил нужных ему сведений о действительных связях Бакунина. Прочтя сам, передал наследнику, написав сверху: «Стоит тебе прочесть: весьма любопытно и поучительно». Экземпляры рукописи были также направлены наместнику Царства Польского Паскевичу и председателю Государственного совета Чернышову. Последний, возвращая рукопись Орлову, писал: «Дорогой граф, я крайне смущен тем, что так долго задержал объемистую „Исповедь“, которую Вы мне передали по повелению его величества. Чтение ее произвело на меня чрезвычайно тягостное впечатление. Я нашел полное сходство между „Исповедью“ и показаниями Пестеля печальной памяти, данными в 1825 году, то же самодовольное перечисление всех воззрений, враждебных всякому общественному порядку, то же тщеславное описание самых преступных и вместе с тем нелепых планов и проектов; но ни тени серьезного возврата к принципам верноподданнического — скажу более,

христианина и истинно русского человека» (т. IV, стр. 551).

Граф Чернышев был не лишен проницательности. Верноподданнические чувства были представлены в этом документе лишь пустой словесной оболочкой, из-за которой проглядывало лицо агитатора, взявшегося за пропаганду своих воззрений в высших сферах.

Надежды Бакунина на возможное смягчение своей участи были по меньшей мере наивны. Единственно, что было разрешено ему, — это свидание с родственниками.

В начале октября 1851 года граф Орлов личным письмом уведомил Александра Михайловича Бакунина, что сын его находится в Петропавловской крепости и что он с дочерью Татьяной может его навестить. Известие это потрясло всю семью. Самые фантастические слухи доходили до Премухина об участии Мишеля в европейских революциях. Писем же от него никто из родных не получал все эти годы. И вдруг он оказывается в Петербурге. Причем то, что он в крепости, что осужден, очевидно, на пожизненное заключение, как-то не очень волнует родных. Главным им кажется то, что он жив, здоров и находится здесь, рядом, в России, а в дальнейшем они верят в «милость государя».

23 ноября Алексей Бакунин пишет брату Павлу: «Милый друг, как тебе сказать о том, что нас так тревожило последние годы и что, кажется, разрешается лучше, чем мы ожидали. Мишель в Петербурге в крепости... Я почему-то убежден, что заключение его не будет вечным. Он будет возвращен, краеугольный камень нашего дома...»[160]

После того как Татьяна и брат Николай[161] повидали в крепости Мишеля, восторгу родных не было предела. «Ведь нам не только позволено было с ним видаться, — сообщала Татьяна Алексею, — но и писать к нему... Можешь представить себе нашу горячую благодарность за такую великую, незаслуженную милость! Можешь представить себе, сколько счастья, сколько радости в сердце каждого из нас!»[162]

Однако радоваться-то было нечему. Для Бакунина настали самые тяжелые дни. Тянулись они бесконечно долго. Однообразие тюремного режима, отсутствие возможности движения, бездеятельность при огромной жажде действий делали его положение невыносимым. Единственная отдушина — переписка с родными. Но вся она проходила через руки тюремного начальства, а случалось — и самого царя. Тон его писем к сестрам, братьям, родителям приобрел снова, как в молодые годы, сентиментально-поучительную окраску. Лишенный возможности говорить о том, что его действительно волновало, он сосредоточился на всех деталях жизни семьи. Для того чтобы обмануть бдительную стражу, тоном полного покаяния и примирения в течение первых трех лет Бакунин пишет о своем полном отказе от жизни «блуждающего огонька», о том, что, если бы ему предложили свободу с условием начать прежнюю жизнь, он ни за что не согласился бы на это. «Во мне умер всякий нерв деятельности, всякая охота к предприятиям, я сказал бы, всякая охота к жизни, если б не нашел новую жизнь в вас; я не унываю, но также ни на что не надеюсь, у меня нет ни цели, ни будущего, я не жил бы, если бы не жил вашей жизнью».

«Я спокоен, я примирился» — вот главный тезис всех его писем к родным. И каким же диссонансом этому, каким криком боли и отчаяния звучат его строки, переданные в 1854



году при свидании с Татьяной, прямо ей в руки. «Мои дорогие друзья! Я знаю, какой ужасной опасности я подвергаю вас тем, что пишу это письмо. И все-таки я пишу его. Отсюда вы можете заключить, как велика сделалась для меня необходимость объясниться с вами и сказать, хотя бы один еще раз, несомненно последний в моей жизни, свободно, без принуждения то, что я чувствую, то, что я думаю... Это письмо — моя крайняя и последняя попытка снова связаться с жизнью... Я чувствую, что силы мои истощаются. Дух мой еще бодр, но плоть моя становится все немощнее. Вынужденные неподвижность и бездействие, отсутствие воздуха и особенно жестокая внутренняя мука, которую только заключенный в одиночке, подобно мне, может понять и которая не дает мне покоя ни днем, ни ночью, развили во мне зачатки хронической болезни... Два раза в день у меня обязательно жар: до полудня и вечером, а в продолжение всего остального дня меня мучит внутреннее недомогание, которое сжигает мое тело, туманит мне голову и, кажется, хочет меня медленно съесть... Для меня остался один только интерес, один предмет поклонения и веры — вы знаете, о чем я говорю, — и если я не могу жить для него, то я не хочу жить совсем. ...Вы никогда не поймете, что значит чувствовать себя погребенным заживо; говорить себе во всякую минуту дня и ночи: я — раб, я уничтожен, сделан бессильным к жизни; слышать даже в своей камере отголоски назревающей великой борьбы, в которой решаются самые важные мировые вопросы, — и быть вынужденным оставаться неподвижным и немым... Наконец, чувствовать себя полным самоотвержения, способным ко всяким жертвам и даже к героизму для служения тысячекрат святому делу — и видеть, как все эти порывы разбиваются о четыре голые стены, единственных моих свидетелей, единственных моих поверенных!» Но и сквозь пелену, казалось бы, сплошного отчаяния звучат в этом письме слова надежды.

«Надежда снова начать то, что привело меня сюда, только с большей мудростью и с большей предусмотрительностью, быть может, ибо тюрьма по крайней мере тем была хороша для меня, что дала мне досуг и привычку к размышлению. Она, так сказать, укрепила мой разум, но она несколько не изменила моих прежних убеждений. Напротив, она сделала их более пламенными, более решительными, более безусловными, чем прежде, и отныне все, что остается мне в жизни, сводится к одному слову: „свобода“» [Курсив мой. — Н. П.] (т. VI, стр. 244–245).

Письмо это впервые прямо и открыто говорит о сохранившейся и даже окрепшей революционной вере Бакунина, подтверждает ложность его «раскаяния» перед царем и обманчивость его предыдущих писем к родным. Риск, которому он подвергал их, передавая это письмо, был для них незначителен, но ему он грозил действительно вечным заточением, уже без свиданий и писем. Но, к счастью, все сошло благополучно.

Передать письмо Бакунину удалось потому, что на этот раз свидание происходило в более свободной обстановке, на квартире нового коменданта крепости генерала Мандерштерна, сменившего генерала Набокова. Татьяна и Павел, приехав в Петербург, остановились у дочери Набокова — Е. И. Пущиной, много помогавшей им в хлопотах о брате. Так личные дружеские связи оказались сильнее инструкции о содержании секретных арестантов.

После свидания Павел писал в Премухино: «Он, слава богу, здоров, но потерял почти передние зубы, да щека немного была подпухши. Танюша, приехавши, передаст вам лучше

наше свидание, а я сознаюсь, что не умею передать словами, что мне чувствовалось при этом свидании: радость ли это была вновь увидеться или горе так увидеться — бог знает про то».[163]

Как видно, восторг от «милостей» царя и вера в скорое освобождение брата потускнели в семье Бакуниных. А самому узнику заключение стало совсем невыносимым. Ему стали приходить в голову мысли о самоубийстве. «Или я буду скоро свободен, или умру», — пишет он в другом письме к Татьяне. Родные, уже начавшие хлопотать о его освобождении, уговаривают его не предпринимать рокового шага.

Но время идет, и вместо Сибири, о которой мечтает Бакунин, его ждет новая тюрьма. Царь боится, что в обстановке начавшейся Крымской войны англо-французский флот может ворваться в устье Невы и освободить его.

12 марта 1854 года комендант Шлиссельбургской крепости был уведомлен графом Орловым о том, что «государь император повелеть изволил: содержащегося в Алексеевском равелине преступника Михаила Бакунина перевести в Шлиссельбургскую крепость». Причем Орлов просил поместить Бакунина в «лучшем и самом надежнейшем из номеров секретного замка... соблюдать в отношении к нему всевозможную осторожность, иметь за ним бдительнейшее и строжайшее наблюдение, содержать его совершенно отдельно, не допускать к нему никого из посторонних и удалять от него известия обо всем, что происходит вне его помещения, так, чтобы самая бытность его в замке была сохранена в величайшей тайне».[164]

И снова потянулись однообразные дни тюремного заключения. Чай, табак и книги составляли единственное украшение его быта, но родные не слишком баловали его. Просьбу о присылке средств на эти столь необходимые ему предметы приходилось повторять по многу раз. А однажды он написал матери: «Вы знаете, что 18 мая было мое день рождения... Вот я рассудил, что вы в продолжение почти 20 лет ни в именины, ни в рождение мое не сделали мне никакого подарка. Приняв в соображение, что это нехорошо, и что Вам должно быть совестно, п, как добрый сын, желая поправить Вашу ошибку и избавить Вас тем от мучительного чувства, я потому и положил от Вашего имени сделать самому себе подарок в 50 рублей серебром... Ведь Вы, милая маменька, верно, не откажете мне в своей ратификации» (т. IV, стр. 264–265).

В Шлиссельбурге денежное довольствие узника было увеличено до 30 копеек в сутки (в равелине на пищу отпускалось 18 копеек). В меру жандармской любезности Бакунин приобрел здесь также ряд льгот, о которых просил коменданта крепости. Так, он мог теперь получать от брата продукты и дозволенные книги (французские и немецкие романы, газету «Русский инвалид», журналы «Москвитянин», «Библиотека для чтения», «Отечественные записки»), мог пить перед обедом рюмку водки и прогуливаться.

На просьбу «быть водимому в баню» он получил отказ. Сам царь воспротивился просьбе матери, поддержанной комендантом крепости, о том, чтобы в камере разрешили узнику иметь токарный станок. Сообщая отказ, Дубельт разъяснял, что ни в Своде законов, ни в инструкциях о содержании секретных арестантов нет правил, предусматривающих какие-

либо механические занятия для заключенных. Однако неожиданно Дубельт разрешил другую просьбу: иметь в камере клетку с двумя канарейками, хотя, безусловно, подобный атрибут не предусматривался никакими правилами и законами.

После пяти лет заключения Бакунина в отечественных тюрьмах произошло событие, потрясшее всю Россию и Европу и отразившееся в известной мере и на его судьбе.

18 февраля 1855 года умер император Николай I. Вся страна ожила. Тяжелые тиски деспотизма, столько лет подавлявшие все живое и мыслящее, казалось, ослабли. Началось невиданное оживление общественной жизни. Вопрос об отмене крепостного права стал реальной проблемой современности. Общественный подъем создал иллюзии о возможности осуществления и некоторых буржуазных свобод. От Александра II ждали амнистии политическим заключенным, освобождения слова от цензуры, гарантий свободы личности.

Уже 21 марта 1855 года мать Бакунина подала новому царю первое прошение об освобождении сына. Но оно осталось без ответа. Брат Алексей, находясь в это время вместе с матерью в Петербурге, послал Павлу грустное письмо о том, как тяжело ему идти на свидание с Мишелем, не имея возможности ничем порадовать его. «Мне понятно, — отвечал Павел, — что тебя смущает предстоящее свидание с братом: так горько прийти к нему, не принеся с собой по крайней мере надежд каких-нибудь. Но, несмотря на видимую грусть письма твоего, кажется мне, мы должны надеяться... Тем более что я думаю и имею достаточный повод думать так, что в настоящую минуту ни ум, ни желание добра, ни огонь души, вовлекающий иногда в ошибки, не страшны для России, по страшны для России глупость, бессмыслие и особенно бездушие того ходячего эгоизма, что из жизни общественной делают торговый рынок своих частных интересов. Тем ходом, каким мы шли до сих пор, мы уже дошли до всего, до чего дойти было возможно. Теперь идти дальше некуда. Необходимо изменить ход... И потому необходимо надеяться: все умное, все доброе, все оживляющее и творческое оживает под влиянием нового весеннего солнышка... Я в каком-то радостном ожидании и полон надежд... Я верю весне, и уже в конце января в меня сильно закрадывается весеннее ощущение. Его поддерживают во мне эти тайные, смутные голоса, со всех концов долетающие и так убедительно возвещающие, что зима кончилась».[165]

Однако радостные ожидания Павла оказались напрасными. Прощения, поданные его матерью, оставались без ответа. Снова потянулась мрачная вереница дней. Царь хорошо помнил «Исповедь» Бакунина, не верил ей и ждал от своей жертвы новых доказательств благонадежности. Бакунин долго не хотел писать царю сам, надеясь на хлопоты матери. Но время шло, здоровье все более разрушалось, а столь страстно желаемое освобождение не приближалось.

Несколько лет спустя Бакунин рассказывал Герцену об этом времени: «Страшная вещь — пожизненное заключение. Каждый день говорить себе: „Сегодня я поглупел, а завтра буду еще глупее“. Со страшною зубною болью, продолжавшейся по неделям (результат цинги. — Н. П.)..., не спать ни дней, ни ночей, — что б ни делал, что бы ни читал, даже во время сна чувствовать какое-то беспокойное ворочание в сердце и в печени с вечным ощущением: я раб, я мертвец, я труп. Однако я не упал духом.... Я одного только желал: не примириться,

не резиньироваться, не измениться, не унизиться до того, чтобы искать утешения в каком бы то ни было обмане, — сохранить до конца в целости святое чувство бунта».[166]

Вяч. Полонский сомневался в том, что эти слова, написанные позднее, точно выражали состояние Бакунина в крепости. По его мнению, «чувство бунта» в крепостях было утеряно узником. Однако, сопоставив это письмо с тем, что писал он родным и передал в руки Татьяне, я не нахожу здесь противоречий. В глубине души он не изменялся. Его «Исповедь» была не изменой, а тактическим ходом; его официальные письма к родным и, наконец, его письмо к Александру II были продолжением той же линии.

Потеряв всякую надежду на успех ходатайств матери, 3 февраля 1857 года Бакунин пишет князю В. А. Долгорукову: «Обращаюсь к Вашему сиятельству с покорной просьбой исходатайствовать мне от государя позволения писать к его величеству». Позволение получено, и уже 14 февраля на имя Александра II следует прошение, полное притворного покаяния и стремления посвятить «остаток дней сокрушающейся обо мне матери, приготовиться достойным образом к смерти».

Теперь царь, кажется, поверил, что дух узника сломлен. 19 февраля 1857 года на прошении Бакунина он написал: «Другого для него исхода не вижу, как ссылку в Сибирь на поселение».

Комендант сообщил Бакунину о царской «милости» и о разрешении ему по его просьбе заехать на одни сутки в Премухино, проститься с родными.

8 марта 1857 года в вагоне третьего класса с поездом из пустых вагонов он был направлен из Петербурга в Осташков. Здесь в сопровождении поручика Медведева и двух жандармов пересел на почтовую телегу и прибыл в имение, где прошли его детство и юность.

В доме Бакуниных собрались вся семья, многие друзья, соседи. Все с нетерпением ждали Мишеля, ставшего за долгие годы скитаний и тюрем фигурой почти легендарной. Но вот вдали зазвенел колокольчик, и вскоре сам долгожданный узник в сопровождении жандармского офицера предстал перед их глазами. Богатырская его фигура казалась прежней, но отсутствие зубов, поседевшие и поредевшие волосы, отечность и резкие морщины — все говорило о перенесенных страданиях. Об этом дне, проведенном в Премухине, и об отношении родных к Мишелю сохранился рассказ его племянницы, дочери брата Николая Варвары, написанный ею для премухинского домашнего рукописного журнала «Мельница». Тетради эти, содержащие рассказы, стихи, фотографии и рисунки многочисленных членов семьи Бакуниных, хранятся ныне у внучатой племянницы М. А. Бакунина — Татьяны Геннадиевны Кропоткиной. Отрывок из «Мельницы», который я привожу ниже, начинается с того, как старший брат Миша впервые сообщил младшему поколению Бакуниных о существовании дяди Мишеля, ранее им неизвестного. «Он рассказывал нам, что этот дядя старше всех других дядей, просидел 10 лет в крепости у австрийцев, и что, наконец, австрийский император передал его нашему царю Николаю I, и что тот держит его в крепости, запертого в одной комнате. А дядя Мишель очень умный и хороший человек и все хлопотал о свободе, не жалел себя и сражался за свободу, и вот за это-то австрийцы и посадили его в крепость. После этих рассказов, естественно, являлась у

нас антипатия к австрийцам как к народу, который не только не терпит свободу, но даже мучает людей, ей преданных.

Рассказывал он нам еще, что как-то раз, когда д[ядя] Мишель сидел еще в австрийской крепости, один тамошний офицер так полюбил его и жалел, что предлагал ему бежать ночью, переодевшись в его платье в тот день, когда он будет на карауле, но дядя Мишель отказался, зная вперед, что за это непременно офицера повесят или расстреляют. А уж царь Николай ни за что, никогда его не выпустит из крепости. За всеми этими рассказами следовали свои рассуждения о том, что его необходимо освободить из крепости, и всякие нелепые предположения, каким образом его можно освободить, где ему и скучно и скверно сидеть.

Когда Николай I умер и взошел на престол сын его Александр II, бабушка с помощью дяди Алексея написала прошение к царю, в котором просила его освободить д[ядю] Мишеля, а мы слушали это прошение, когда большие прочитывали его громко друг другу. Из комнат, где говорили большие, нас никогда не гоняли, лишь бы мы им не мешали и сидели смирно. Когда прошение было готово, бабушка, тетя Таня и д[ядя] Алексей поехали в Петербург, где бабушка, стоя на коленях, подала царю лично свое прошение. Там они видались в крепости с д[ядей] Мишелем, конечно, при офицерах, служащих в той крепости. Когда они вернулись, я слышала только урывками их разговоры и сколько поняла, они не очень-то надеялись на освобождение его.

Ранней весной 1857 года, когда было еще много снега и только еще одно солнце говорило о весне, мы узнали, что д[ядя] Мишель будет скоро в Премухине проездом в Сибирь, где и должен будет жить до смерти.

...Больших мы ни о чем не спрашивали, и они нам сами ничего не говорили, а знали только то, что сами слышали из их разговоров. Когда д[ядя] Мишель приехал к нам, мне было 8 лет... Мы с сестрой Олей ходили за ним хвостом и боялись проронить его слово. По первому впечатлению он поразил меня своей толщиной и веселым характером. Таких толстых и веселых я еще никогда не видала. Говорил он очень много, весело смеялся, вспоминал старину, со всеми пел разные песенки, шутил и опять смеялся. Голос у него был громкий, веселый, звучный. Приехал он в сопровождении одного или двух жандармов. Они сидели все больше в зале, а он ходил свободно по всему дому. Тетя Саша, мать Миши Вульфа, как только узнала о приезде его, сейчас же приехала к нам одна, без детей, из Зайкова. На другой день все дяди и тети поехали провожать его до Зайкова, а оттуда уже поехал он прямо в Сибирь.

Больше я никогда его не видала».

В расписке, полученной поручиком Медведевым, говорилось о том, что «секретный арестант... при отношении за № 559 28-го сего марта доставлен в Омск исправно и сдан омскому коменданту вместе с принадлежащими сему арестанту суммою кредитными билетами триста семидесятые руб. серебром».[167]

Генерал-губернатор Западной Сибири Г. Х. Гасфорд принял Бакунина весьма любезно. Вместо назначенного места поселения в Нелюбинской волости Томской губернии ему было разрешено ввиду плохого здоровья остаться в Томске.

Сибирь — это традиционное место ссылки для многих поколений русских революционеров — и в те годы не была местом глухим, гиблым и мрачным. Напротив, во многих отношениях она выгодно отличалась от губерний Центральной России. Спустя пять лет добровольно отправившийся туда П. А. Кропоткин писал в своих «Записках революционера»: «Сибирь не мерзлая страна, вечно покрытая снегом и заселенная лишь ссыльными, как представляют ее себе иностранцы и как еще очень недавно представляли ее себе у нас. Растительность Южной Сибири по богатству напоминает флору Южной Канады. Сходны также их физические положения. На пять миллионов инородцев в Сибири — четыре с половиной миллиона русских, а южная часть Западной Сибири имеет такой же совершенно русский характер, как и губернии к северу от Москвы».[168]

Благоприятные природные условия не исчерпывали достоинств этого края. По свидетельствам многих современников и в том числе того же П. А. Кропоткина, высшая сибирская администрация была гораздо более просвещенной и «в общем гораздо лучше, чем администрация любой губернии в Европейской России».

Немалую роль играло и то обстоятельство, что в течение десятилетий лучшие люди России пополняли собой ряды сибирской интеллигенции. Ссылные революционеры, пользующиеся в середине века довольно свободными условиями жизни, в значительной мере определяли интеллектуальный и нравственный уровень жизни сибирского общества.

Характерно, что «Колокол», «Полярная звезда», «Русское слово», «Современник» были очень широко распространены в Сибири. Так, по числу подписчиков на «Современник» этот край занимал третье место после Новороссийского края и Малороссии. «По особенностям своей исторической судьбы, — писал Н. Г. Чернышевский, — Сибирь, никогда не знавшая крепостного права, получавшая из России постоянный прилив самого энергического и часто самого развитого населения, издавна пользуется славой, что стоит в умственном отношении выше Европейской России».[169]

Казалось бы, что после многих лет вынужденной изоляции, получив, наконец, относительную свободу и возможность общения с близкими ему по духу и уровню людьми, Бакунин со свойственной ему энергией с головой уйдет в общественную жизнь. Такой вариант был бы вполне возможен именно потому, что Сибирь представляла собой широкое поприще для подобной деятельности. Однако все сложилось иначе.

С самого начала своего пребывания в Сибири Бакунин рассматривал ссылку как явление временное. Добиться полной и окончательной свободы — вот единственное его стремление. Путь к этому на первых порах он видел в том, чтобы упрочить свое положение в глазах местной администрации и петербургского начальства, предстать перед глазами князя Долгорукова и самого царя человеком, отрекшимся от увлечений молодости, ставшим обычным обывателем. Поэтому Бакунин не сошелся ни с ссыльными декабристами, ни тем более с польскими революционерами, ни с местной учащейся и думающей молодежью.

Первые дружеские связи завел он в среде, далекой от интеллигенции. Теплые отношения сразу же установились у него с хозяевами дома, где снял он комнату, — стариками Бордаковыми.

Их небольшой двухэтажный деревянный дом представлял собой нечто вроде заезжего дома. От всех других квартирантов Бордаковы отличали полюбившегося им Бакунина, который, со своей стороны, относился к ним весьма дружески. Вскоре он познакомился и с другим семейством, также в общем далеким от общественных интересов. Это были Квятковские.

Ксаверий Васильевич Квятковский — обедневший дворянин, еще в 40-х годах приехал в Сибирь из Могилевской губернии и поступил на службу к золотопромышленнику Асташеву. Женат Квятковский был на польке. В семье было четверо детей — сын и три дочери. Двум из них, Софье и Антонии (Антонине), Бакунин предложил давать уроки иностранных языков. Занятия начались и кончились вскоре весьма неожиданно: Бакунин увлекся своей ученицей Антосей.

В прежней жизни Бакунина женщины почти не играли никакой роли. Он слишком был погружен в грандиозные революционные планы, весь его темперамент, весь пыл души был отдан революции. Единственное серьезное чувство испытал он к Иоганне Пескантини, но то была женщина умная, сильная, волевая, близкая ему по духу. Теперь же претенденткой на его сердце оказалась девушка, далекая от каких бы то ни было умственных интересов, обладавшая лишь двумя несомненными достоинствами: приятной наружностью и семнадцатью годами от роду. Встретиться он с ней ранее где-либо среди бурных событий европейских революций или даже еще раньше, в литературных салонах Москвы, встреча эта, может быть, прошла бы для него незамеченной.

Именно Антосей, а не ее сестрой Софьей, увлекся Бакунин. А Софья имела определенные склонности к интеллектуальной жизни, симпатизировала Бакунину и впоследствии его идеям, была горячей поклонницей Гарибальди. Замуж же вышла за красноярского прокурора.

Однажды, уже в Италии, Антонина при встрече с Гарибальди сказала ему, что в далекой Сибири у него есть пламенная почитательница. Гарибальди был тронут и послал Софье Ксавьеревне свой портрет, сделав на нем надпись.

Весьма разн и не соответственно склонностям сложилась судьба сестер Квятковских. Антонина, бесспорно, была бы счастливее, встретить она своего красноярского прокурора. Но... так не случилось. Увлеченная, возможно, героическим ореолом, окружавшим хотя и полысевшую, но все еще красртвую голову Бакунина, она благосклонно отнеслась к его чувству.

Бакунин решил жениться. Появилось у него, хотя и ненадолго, стремление устроить личную жизнь, завести свою собственную семью. Возможно, что усталость от прежних скитаний и многих лет тюрем, физическая надломленность сыграли здесь свою роль. Герцен впоследствии объяснял этот шаг Бакунина лишь сибирской скукой. Позднейшие историки склонны были видеть в этой женитьбе определенный расчет, направленный на то, чтобы

создать о себе впечатление окончательно смирившегося и оставившего прежнюю жизнь человека. Так считал Ю. Стеклов. А. Карелин в своей книге о Бакунине без всяких тому доказательств писал, что брак этот был фиктивным, так как Бакунин спасал этим поступком девушку от назойливых приставаний «нечестного человека».[170] Вяч. Полонский сообщает свой разговор с М. П. Сажиным, который также сказал ему, «что брак этот был фиктивным, каких бывало немало в то время. Ценой этого брака Антонина Квятковская покупала независимость. Что же приобретал Бакунин? Положение семейного человека, более благоприятное для успешных хлопот перед начальством о свободном передвижении».[171]

Все эти предположения кажутся мне неосновательными. Их опровергают прежде всего глубоко искренние письма Бакунина к жене, да и все отношение его к ней в последующие годы. Просто уж вышло так, что чувство его к Антосе и сама женитьба как нельзя лучше совпали по времени с его планами создания себе репутации остепенившегося обывателя.

Еще до того, как возникло у него это намерение, Бакунин начал хлопотать о предоставлении ему возможности найти себе работу, связанную с передвижением по Сибири. В августе 1857 года он обратился к генералу Казимировскому, начальнику Западносибирского округа корпуса жандармов, прося его ходатайствовать перед петербургским начальством о разрешении искать занятий по делам золотопромышленности, ибо лишь в этой области он считает возможным принести общественную пользу, «подавая пример приобретения без обмана и без противозаконного утеснения рабочего класса».

Казимировский, познакомившийся с Бакуниным в Томске, действительно возбудил ходатайство перед Долгоруковым, ссылаясь на то, что Бакунин «чистосердечно и глубоко раскаивается в прежнем преступлении» и что поведением своим он заслужил общую похвалу в городе. Однако III отделение не намерено было так быстро идти навстречу желаниям Бакунина. Долгоруков ответил, что занятие себе он может найти и в самом городе Томске.

Спустя несколько месяцев, уже в положении человека, решившего жениться, Бакунин снова начал хлопоты, на этот раз у гражданского томского губернатора генерала Озерова. Цель была та же: добиться возможности путешествия по Сибири и прежде всего посещения восточной ее части; повод же стал более убедительным: помимо желания работать на пользу общества, Бакунин сообщал и о своей любви к Антонине Квятковской и о невозможности жениться, не имея средств к содержанию семьи. Не ограничившись генералом Озеровым, он направил аналогичное послание и князю Долгорукову. Но как то, так и другое успеха не имело. Единственно, что по разрешению Александра II мог сделать Бакунин, — это поступить на гражданскую службу писцом четвертого разряда, с правом выслуги первого офицерского чина через 12 лет.

Само собой разумеется, что подобная служба не могла привлечь Бакунина. «Мне казалось, — иронически сообщал он Герцену, — что, надев кокарду, я потеряю свою чистоту и невинность» (т. IV, стр. 362). Но это он писал Герцену позднее, а тогда, в разгар его сватовства, летом 1858 года, он нашел способ послать первое за долгие годы письмо в Лондон. «Я жив, я здоров, я крепок, я женюсь, я счастлив, я вас люблю и помню и вам, равно как и себе, остаюсь неизменно верен» (т. IV, стр. 289). Совсем в ином тоне писал Бакунин



матери о своем намерении. Это письмо было рассчитано на перлюстрацию и потому все так и дышало благонамеренностью. «Благословите меня, я хочу жениться!.. Благословите меня без страха: мое желание вступить в брак да служит Вам новым доказательством моего обращения к истинным началам положительной жизни и несомненным залогом моей твердой решимости отбросить все, что в прошедшей моей жизни так сильно тревожило и возмущало Ваше спокойствие» (т. IV, стр. 284).

Со стороны своих родных Бакунин не встретил возражений, но отец невесты нашел, что политический ссыльный, не имеющий средств к существованию, не представляет собой достойного претендента на руку его дочери. Однако судьба на этот раз была благосклонна к Бакунину. В Томск приехал генерал-губернатор Восточной Сибири граф Муравьев-Амурский — родственник Бакунина. Узнав о его затруднениях с будущим тестем, он тут же направился с визитом к Квятковскому и уверил его в скором полном освобождении и в блестящей будущности Бакунина. Ксаверий Васильевич был польщен визитом графа. Свадьбу назначили.

Венчание произошло 5 октября 1858 года в градотомской церкви, причем запись в метрической книге свидетельствует о том, что Бакунин, желая быть моложе, уменьшил свой возраст до сорока лет.

Свадьбу отпраздновали весьма торжественно. Особый блеск этому событию придавало участие самого губернатора в качестве посаженного отца. Посаженой же матерью Бакунин пригласил старушку Бордакову. «Какая поразительная картина, какая необыкновенная группа, возможная только на сибирской почве! — восклицал по этому поводу автор статьи „Томская старина“ Андрианов. — Образованный человек, известный всей Европе „апостол разрушения“ Бакунин, блестящий граф, представитель громкого, старинного дворянского рода Муравьев и томская мещанка Бордакова...»[172]

Вечером, после венчания, в доме Бакунина собралось много гостей. Ярко освещенный внутри и иллюминированный горящими плашками по фасаду дом привлек толпы местных жителей, кричавших «ура!» в честь новобрачных.

Дом, где происходила эта пышная по местным масштабам свадьба, был собственностью Бакунина. Он был куплен им за несколько месяцев до свадьбы. Низкое одноэтажное деревянное здание, разделенное на несколько полутемных комнат. Довольно убого выглядело это жилище. Однако цветник, посаженный специально приглашенным садовником, несколько скрашивал впечатление.

В этом «поместье» прожили Бакунины около года. Время они проводили уединенно.

Из политических ссыльных под конец пребывания в Томске Бакунин подружился с одним лишь петрашевцем Феликсом Толем, имевшим характер «рыцарский, порывистый... неспособный, кажется, к постоянному делу и к выдержке».[173]

По свидетельству Бакунина, они жили последние полгода в Томске, «как братья». Дружба эта возникла после того, как Бакунин отвлек Толя от пьянства и «плохого окружения». Отстав от этого пагубного увлечения, Толь проводил много времени с Бакуниным. Именно от

Толя последний впервые узнал все подробности дела петрашевцев. Однако или информация была односторонней, или позднейшие столкновения с самим Петрашевским извратили представления Бакунина об этих людях, только он не понял смысла и не придал должного значения их движению.

Из молодых людей, которых обычно любил поучать и наставлять Бакунин, в Томске он встретился с одним — Потаниным. Григорий Николаевич Потанин, географ, исследователь и крупный общественный деятель Сибири, происходил из казачьей среды. Выпущенный в 1852 году офицером из Омского кадетского корпуса, он служил сотником, много путешествовал по Сибири, работал в Омском архиве над разбором старинных актов. Чувствуя недостаток образования, он решил бросить военную службу и добиться поступления в Петербургский университет. Выйдя в 1858 году в отставку, он обратился к своему родственнику золотопромышленнику Гильзену фон Мершейду с просьбой о материальной поддержке. Однако дела Гильзена в это время шли неважно, и он ограничился тем, что вместо денег дал Потанину рекомендательное письмо в Томск к знакомому ему Бакунину. Гильзен просил помочь молодому человеку, стремившемуся в Петербург и уж было решившемуся отправиться учиться без всякой помощи и даже без соответствующей одежды.

Бакунин принял горячее участие в судьбе Потанина. Он достал ему 100 рублей, выхлопотал разрешение добраться до Петербурга бесплатно с караваном золота, дал рекомендательные письма к М. Н. Каткову и своим кузинам Екатерине Михайловне и Прасковье Михайловне Бакуниным. «Милые сестры, — писал он им, — посылаю и рекомендую вам сибирского Ломоносова, казака, отставного поручика Потанина... Приласкайте его, милые сестры, и в случае нужды не откажите ему ни в совете, ни в рекомендации» (т. IV, стр. 298).

В письме Каткову Бакунин сообщал о знании Потаниным Сибири и о возможном его сотрудничестве в журналах, в чем Катков, конечно, мог оказать помощь молодому автору. Однако в этом пространном письме Потанину было посвящено лишь несколько строк. Используя эту оказию, Бакунин просто решил возобновить отношения с бывшим приятелем.

М. П. Катков редактировал тогда «Русский вестник» — издание умеренно-либеральное. Сам же он не успел еще стать идеологом шовинизма и реакции, однако от увлечений ранней молодости был уже весьма далек.

Будучи плохо осведомленным о действительном положении дел в России, живя идеалами, мыслями и чувствами 1848 года, Бакунин решил дружески обратиться к Каткову, с тем чтобы восстановить литературные связи в столицах и попутно внушить издателю крупного журнала некоторые идеи по славянскому и особенно польскому вопросам.

Катков, по свидетельству Потанина, был рад письму старого приятеля. Он созвал знакомых, ири которых Потанин должен был повторить свой рассказ и несколько раз ответить на вопрос: «Такая же ли у Бакунина грива, как прежде?» Ответ Каткова, не дошедший до нас, видимо, был также дружеским, потому что уже в следующем письме Бакунин обращался к нему на «ты».

С той же целью восстановления старых связей написал Бакунин и письмо П. В. Анненкову, послав его также с оказией через Н. А. Спешнева.

Попытки Бакунина наладить старые отношения были связаны с его надеждами получить вскоре возможность уехать из Сибири и, может быть, даже снова явиться в Москве и Петербурге. Эти надежды основывались прежде всего на тех хлопотах, которые предпринял Н. Н. Муравьев, обратившийся с письмом к шефу жандармов с просьбой ходатайствовать перед Александром II о лучшей для него награде за службу: прощении и возвращении прав состояния «государственным преступникам» — Николаю Спешневу, Федору Львову, Михаилу Буташевичу-Петрашевскому и Михаилу Бакунину. Однако и это ходатайство не помогло. Царь ответил, что лица эти забыты не будут, но что пока их участь должна остаться без изменений. Тогда Муравьев предпринял новый шаг. Весной 1859 года он добился перевода Бакунина в Иркутск.

Восточная Сибирь при покровительстве Муравьева открывала перед Бакуниным широкие возможности. Прежде всего он смог здесь, наконец, получить службу, связанную с передвижением. Сначала он устроился в Амурскую компанию, но вскоре перешел к золотопромышленнику Бенардаки, который, не давая ему, по существу, никаких поручений, платил деньги, достаточные для содержания его многочисленной семьи. Теперь не только жена, но и все ее родные жили с ним в Иркутске. Однако, ничего не делая по службе, Бакунин вскоре стал испытывать известные моральные угрызения по поводу того, что на деньги, получаемые им, он права не имел. Бенардаки же не собирался давать Бакунину какой-либо серьезной работы, так как был достаточно богат, чтобы платить нечто вроде пенсии человеку, близкому к генерал-губернатору.

В конце концов ложное положение, в котором оказался Бакунин, вынудило его обратиться с письмом к Бенардаки. Высказав свое возмущение подобным отношением и подсчитав сумму, выплаченную ему ни за что (5175 рублей серебром), Бакунин давал обязательство вернуть в течение года эти деньги.

Достать денег, как всегда, было негде. На братьев рассчитывать не приходилось, и тогда он решил занять у Каткова, с которым продолжал переписку и которого считал своим приятелем. Катков денег не дал, а позднее, весьма зло изображая этот эпизод, писал: «Благородный рыцарь, он хотел подаянием уплатить подаяния, из чужих карманов восстановить свою репутацию во мнении откупщика. Мы не могли ему быть полезны, и письмо его осталось втуне».[174]

Все эти денежные осложнения стали беспокоить Бакунина в конце его пребывания в Иркутске. Первое же время он не придавал им значения. Отойдя от состояния некоторой отрешенности, характерного для него во время томского периода, Бакунин теперь, хотя и односторонне, погрузился в сферу общественных интересов. Сразу же по переезде в Иркутск он стал своим человеком в доме Муравьева. Люди, окружавшие графа, так называемая генерал-губернаторская партия, стали той средой, в которой и вращался он все время своего пребывания в Сибири. Наиболее крупными фигурами в окружении Муравьева были: Михаил Семенович Корсаков, ко времени появления в Иркутске Бакунина занимавший пост военного губернатора Забайкальской области; Болеслав Казимирович Кукель,

начальник штаба и помощник Муравьева, охарактеризованный анонимным иркутским поэтом: «вежливость яшвая, деяний графа трубадур»; Николай Павлович Игнатьев, генерал и дипломат, но словам Бакунина, «человек молодой, лет тридцати, вполне симпатичный и по высказываемым мыслям и чувствам... смелый, решительный, энергичный и в высшей степени способный» (т. IV, стр. 365). Все эти деятели в те годы не лишены были либеральных идей. Тон же всему обществу задавал сам генерал-губернатор.

Николай Николаевич Муравьев уже с 1848 года был генерал-губернатором Восточной Сибири. Человек он был умный, яркий, талантливый, обладавший способностями настоящего администратора, а также всеми пороками, которые неизбежно сопутствуют человеку, наделенному почти не ограниченной и почти не контролируемой властью. «Небольшого роста, нервный, подвижной. Ни усталого взгляда, ни вялого движения. Это боевой отважный борец, полный внутреннего огня и кипучести в речи, в движениях», [175] — писал о Муравьеве писатель И. А. Гончаров, встретившийся с ним в разгар его деятельности. Но это впечатление скорее внешнее. Глубоко и предельно лаконично сказал о нем Герцен: «Либерал и деспот, демократ и татарин». Деспот — «как все люди правительственной школы» — так объяснил эту черту Муравьева П. А. Кропоткин. «Муравьев в Петербурге и Муравьев в Иркутске — это дело иное. Здесь он неузнаваем: это хамельон, изменяющий свой цвет и вид до такой степени, что вместо любезного русского генерала вы видите перед собой какого-то хана сибирского» [176] — так писал о губернаторе один из сибирских чиновников, И. Новицкий.

Ко времени переезда Бакунина в Иркутск Муравьев был захвачен грандиозным делом освоения Амурского края. Переселение крестьянских семей на новые земли, часто плохо организованное, вызвало много бедствий и послужило причиной первых конфликтов Муравьева с теми, кто пытался защитить интересы переселенцев.

В острой борьбе, развернувшейся вокруг Муравьева, Бакунин принял весьма деятельное участие на стороне генерал-губернатора. Эти два человека, сходные по темпераменту и склонности к деятельности весьма широких масштабов, импонировали друг другу. Проводя в бесконечных разговорах с графом большую часть времени, проповедуя и поучая, Бакунин незаметно для себя стал приписывать свои мысли своему постоянному собеседнику. Уверенность его в исключительных достоинствах Муравьева была безусловной. Он искренне верил в то, что политическая программа генерал-губернатора состоит в полном освобождении крестьян с землей, гласном судопроизводстве, неограниченной гласности, уничтожении сословий и бюрократии.

Очевидно, в разговорах с Бакуниным Муравьев поддерживал эти идеи. Косвенно это подтверждает и П. А. Кропоткин, говоря, что Муравьев «придерживался крайних мнений и демократическая республика не вполне бы удовлетворила его». [177] Но за «крайними мнениями» губернатора ничего не стояло. Либерализм его исчерпывался реверансами в адрес политических ссыльных, и то до тех пор, пока они поддерживали с ним хорошие отношения, чтением «Колокола» и других запрещенных цензурой изданий. Бакунин поверил этим «мнениям», по-своему домыслил их и стал ярким сторонником Муравьева.

Переехал Бакунин в Иркутск в марте 1859 года, а в апреле в городе произошло событие, взволновавшее всех и сыгравшее решающую роль в окончательном разделении местной общественности на два враждебных лагеря. На пасху два молодых приезжих чиновника, Беклемишев и Неклюдов, поссорились. Беклемишев получил пощечину. Встал вопрос о дуэли. Но Неклюдов, собиравшийся уезжать, драться не хотел. Часть молодежи требовала, чтобы он принял вызов. Бакунин, с его манерой активно вмешиваться в чужие дела, выступил также сторонником дуэли. В конце концов Неклюдова вынудили согласиться, а так как он никого почти в городе не знал, навязали ему и секундантов — приятелей его противника. Муравьева в тот момент в городе не было, но все остальное начальство было в курсе дел, однако никто не только не принял мер, чтобы запретить дуэль, кстати первую в Сибири, но, напротив, все сторонники графа поддерживали Беклемишева в его стремлении получить удовлетворение. Неклюдов был убит. В городе тут же распространились слухи, что это преднамеренное убийство. Возмущение публики возросло еще более, когда обнаружилось, что Беклемишев и его друзья-секунданты разгуливают на свободе.[178] Выразителем общественного протеста стал Петрашевский. Бакунин же, напротив, последовательно защищая интересы губернаторской партии, оказался и в этом неблагоприятном деле на стороне Беклемишева. Так началось столкновение двух наиболее крупных в это время представителей политической ссылки в Сибири.

Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский жил в Иркутске с двумя своими товарищами — Николаем Александровичем Спешневым и Федором Николаевичем Львовым. Все трое бывали в доме Муравьева, который ценил их ум и способности и, как говорилось выше, пытался облегчить их участь. Однако Петрашевский в отличие от Бакунина никогда не был обольщен любезным обхождением графа. При первом же знакомстве он сказал о нем словами Гоголя: «Штабс-капитан из той же компании». Однако Львов пишет, что Петрашевский считал нужным «эксплуатировать либерализм и прогрессизм Муравьева, которыми он желает блистать, и что хотя у него недостает основательности знаний и пр., но есть и хорошие качества. Вследствие таких видов он и ударился в некоторого рода хитрость и... иногда льстил ему для того, чтобы подсластить горькие пилюли, которые ему подносил... С другой стороны, Петрашевский не мог вытерпеть, чтобы не рассказать про то, как Муравьев опростоволосился в том или другом случае... Все это доходило до Муравьева, и он уже не скрывал от других, что Петрашевский ему не нравится, хотя и не переставал его принимать».[179]

Злая и ироническая критика Петрашевским Муравьева и его диктаторских замашек имела большой успех. Постепенно вокруг Петрашевского сгруппировались молодежь, политические ссыльные и та часть иркутского общества, у которой хватало смелости быть против всесильного генерал-губернатора. Блестящий и умный оратор, «талант к агитаторству», которого не мог не отметить и противник его Бакунин, Петрашевский привлекал многих слушателей, собиравшихся чаще всего в библиотеке-читальне Шестунова, куда сходились сотрудники местных газет («Иркутские ведомости» и частной газеты «Амур»), учителя и студенты, приехавшие на каникулы.

К моменту злополучной дуэли отношения между двумя группами иркутского общества уже были весьма напряжены. Агитация же Петрашевского и Львова против местных властей после дуэли дополнила картину. Муравьев еще до своего возвращения в город советовал им

замолчать; приехав же в город, учинил разгром всем, кто осмеливался противоречить его мнениям. Львов был уволен со службы, Петрашевский — выслан из Иркутска, библиотека Шестунова — закрыта. Но нашлась управа и на Муравьева. Противники «губернаторской партии» через доктора Н. А. Белоголового — жителя Иркутска, находившегося в это время за границей, обратились в «Колокол». Во втором номере «Под суд» (приложение к «Колоколу»), вышедшем 15 ноября 1859 года, появилась разоблачительная статья Белоголового. Затем была опубликована заметка Герцена «Тиранство сибирского Муравьева». Все эти обстоятельства вызвали письма Бакунина к Герцену, в которых он с большой горячностью защищал своего героя от нападок «Колокола».

Письмо от 7 ноября 1860 года, по существу, первое дошедшее до нас обстоятельное послание, в котором Бакунин раскрывает свои мысли, говорит о своих убеждениях. «Восьмилетнее заключение в разных крепостях лишило меня зубов, но не ослабило, напротив, укрепило мои убеждения; в крепости на размышления времени много; инстинкты мои, двигатели всей моей молодости, сосредоточились, пояснились, как будто стали умнее и, мне кажется, способнее к практическому проявлению... Я окреп... женат, счастлив в семействе и, несмотря на это, готов по-прежнему, да с прежней страстью удариться в старые грехи, лишь бы только было из чего».[180] Признание это весьма знаменательно, однако Бакунин, не задерживаясь на этом сюжете, переходит к главной теме — реабилитации Муравьева и дискредитации в глазах Герцена всех его противников, главным образом Д. И. Завалишина и Петрашевского.

Ссылный декабрист Дмитрий Ириархович Завалишин обладал действительно скверным и неуживчивым характером. Но борьба, развернутая им на страницах «Морского сборника» против Муравьева и его способов освоения Амурского края, требовала незаурядного мужества и колоссальной энергии. Бакунин же в пылу своего увлечения Муравьевым был далек от того, чтобы объективно оценивать поступки и слова людей, высказывавшихся против генерал-губернатора. Все они для него становились врагами прогресса и демократии, тут уж он не жалел черных красок, чтобы приписать им всевозможные пороки.

Человек увлекающийся, склонный к крайностям, часто ошибающийся в людях, он нередко бывал несправедлив в своих оценках. Многие из того, что он писал в адрес Завалишина и другого декабриста, Раевского, и почти все о Петрашевском и его друзьях, было несправедливо и зло. Вся эта защита Муравьева, продолженная им в «Ответе „Колоколу“» и в следующем письме к Герцену, не делала чести ее автору. Однако надо сказать, что накал страстей и степень интриг вокруг Муравьева к этому времени достигли такого уровня, что участники этой, мягко говоря, полемики как с той, так и с другой стороны не могли уже держаться этических норм. Недаром Герцен после визита Белоголового, привезшего в Лондон новые материалы против Муравьева и Бакунина, отказался их публиковать далее. «Правда — мне мать, но и Бакунин мне — Бакунин» — так мотивировал он свою позицию Белоголовому.

За все годы сибирской жизни Бакунин не приобрел, по существу, ни одного друга, не появилось у него и последователей. А ведь раньше в литературных гостиных Москвы, Берлина, Дрездена и Парижа всегда находились люди, которых увлекал как поток его красноречия, так и сами идеи, им высказываемые. Острота ума, блеск эрудиции,

убежденность, бесстрашие — эти качества мало кого, особенно в первое время знакомства, оставляли равнодушным. Но за четыре года сибирской ссылки он не увлек ни одного человека. В чем же было дело? Очевидно, тюрьма не прошла для него даром. Все эти испытания привели не только к физической надломленности, но и к определенному спаду интеллектуальных возможностей.

До последнего времени было неизвестно о каких-либо работах Бакунина, написанных им в Сибири. Но вот томский историк А. В. Дулов убедительно доказал, что две статьи в газете «Амур», подписанные Ю. Елизаровым (русская транскрипция его старого псевдонима Жюль Элизар) принадлежат перу Бакунина. (Первая из них носит название «Несколько слов об общественной жизни Иркутска» («Амур», № 29, апрель 1861), вторая напечатана в № 33 под цифрой II). Впечатление от этих статей весьма грустное. Поражают тусклость их слога, отсутствие горячей убежденности, остроты. Само же содержание — рассуждения об общественной жизни города и традиционное для Бакунина восхваление действий Муравьева, выраженное на этот раз в иносказательной форме, — носит печать провинциализма и какой-то мелкотравчатости.

Спад умственных интересов, думается, можно объяснить тем, что Бакунин прежде всего был человеком дела. Его статьи, книги, письма, похожие на философские трактаты, писались в связи с тем революционным делом, которым он в тот или иной момент был целиком поглощен. И тогда в этих произведениях звучал голос борца, убежденного, мужественного, искреннего. Такого дела, способного целиком захватить его, не было в Сибири. Да и вообще свое пребывание там он рассматривал как временное.

Первые три года он рвался в Россию — хлопотали перед царем мать и Муравьев. Отказ следовал за отказом, «Ответа делать не нужно», «Оставить без последствий», «По-моему, невозможно» — такие резолюции Александра II ложились на письма с просьбами о помиловании.

В начале 1861 года Муравьев, оставив должность генерал-губернатора, уехал в Петербург. Там он еще раз и опять неудачно попытался похлопотать за Бакунина.

Еще одно, последнее прошение матери Михаила Александровича также не получило положительного ответа. Бакунину не осталось более надежд на скорое освобождение из ссылки. Тогда у него и созрел иной план возвращения к полной жизни и действительной борьбе — план побега через Восточную Сибирь.

Можно допустить, что подобные мысли и ранее приходили ему в голову. Ведь недаром же спустя четыре месяца после освобождения из крепости начал он хлопотать о праве передвижения по Восточной Сибири. В январе 1861 года он еще не был твердо уверен в способе, каким сможет выбраться из Сибири, но выбраться в текущем году во что бы то ни стало уже решил. Из своего намерения он не делал строгого секрета. 1 января в письме к Каткову он говорил о том, что «нынешний год» деньги ему необходимы для того, чтобы, «расплатившись с некоторыми долгами, выбраться из Сибири» (т. IV, стр. 370). Две недели спустя в письме к брату Николаю, прося родных еще раз попытаться похлопотать за него, он писал: «В Сибири я не сгнию, это верно; только отказавшись от правильного планетного

течения, мне придется опять сделаться кометою» (т. IV, стр. 380).

Весну и начало лета 1861 года Бакунин тщательно готовился к осуществлению своего замысла. План его состоял в том, чтобы, получив разрешение на плавание по Амуру, добраться до Николаевска, а там тем или иным способом миновать границу Российской империи.

Для политического ссыльного, находящегося под надзором полиции, дело это было весьма сложным и чрезвычайно рискованным. Однако, как мы увидим далее, оно блестяще удалось ему.

Мог ли он один, без всякой посторонней помощи, осуществить весь этот план? Точными данными для ответа на этот вопрос мы не располагаем. Ясно, что если кто-то и помогал ему, то Бакунин никогда впоследствии не мог назвать этого человека, чтобы не скомпрометировать его. Следствие же о побеге, продолжавшееся вплоть до 1864 года, по существу, зашло в тупик, так ничего и не выяснив.

Вокруг этого побега среди современников и позднейших исследователей было много толков. Все противники Бакунина, и прежде всего Д. И. Завалишин, утверждали, что бежать ему помогла высшая сибирская администрация, и главным образом М. С. Корсаков, исполнявший после отъезда Муравьева обязанности генерал-губернатора, и Кукель. Схема была чрезвычайно простой: раз Бакунин принадлежал к сибирской элите, то его друзья просто помогли ему уехать из Сибири. Завалишин даже не называл эту акцию Бакунина побегом, а писал лишь о его «отъезде».

Версию эту воскресил и подробно изложил спустя 46 лет некий С. А. Казаринов в статье «Побег Бакунина из Сибири».[181] Многие историки, и в том числе Вяч. Полонский, поверили рассказу Казаринова, который выдавал себя за полковника, сопровождавшего Бакунина в его поездке по Амуру. Но Б. Г. Кубалову, много работавшему над историей политических ссыльных в Сибири, удалось доказать ложность всех этих построений и прежде всего выяснить личность самого Казаринова. Им оказался ловкий авантюрист.

Миф, сочиненный им, не имел под собой оснований. М. С. Корсаков не был ни организатором, ни сознательным помощником побега.

После разрыва с Бенардаки, которому братья Бакунина выдали вексель на всю выплаченную им Михаилу Александровичу сумму, он, по существу, не имел источников к существованию, кроме пособия, полагавшегося ему как политическому ссыльному. В это время кяхтинский купец Собашников согласился дать ему поручение выяснить на месте условия для постройки по Амуру торговых и промышленных предприятий. Тогда он и обратился к Корсакову за разрешением на это путешествие, обосновывая его необходимость денежными затруднениями.

Генерал-губернатор не имел права отпускать политического ссыльного, находящегося под надзором полиции, в столь далекое путешествие. Но Бакунин дал честное слово, что он не употребит во зло его доверие. И Корсаков разрешил, — ему просто неловко было бы отказать Бакунину, который к тому же в это время становился и его родственником, так как



Наталья Семеновна Корсакова выходила замуж за брата Михаила Александровича, Павла. Это-то разрешение на плавание, дополненное «открытым предписанием» всем капитанам казенных пароходов беспрепятственно брать его на борт всех судов по рекам Шилке, Амуру, Уссури и Сунгари, и явилось главным обвинением против Корсакова, предъявленным потом следственной комиссией А. Ф. Голицына, и главным источником слухов о его участии в побеге.

Еще более неосмотрительно поступил гражданский губернатор Иркутска Извольский, выдав Бакунину паспорт, где он именовался бывшим прапорщиком, «получившим Высочайшее повеление на вступление в государственную службу». Видно, Извольскому, проводившему время в одном обществе с Бакуниным, тоже неловко было отказать ему в подобной просьбе. Однако на следующий же день после выдачи этого документа он спохватился и послал письмо в Николаевск военному губернатору Приморского края, сообщая о том, что Бакунин находится под надзором полиции. Но письмо это задержалось в дороге и пришло по назначению через месяц после того, как Бакунин покинул Николаевск.

Итак, имея на руках совершенно чистые документы и деньги, полученные от Собашникова, условившись с женой, что осенью она выедет к его родным в Премухино, Бакунин 5 июня 1861 года покинул Иркутск. До села Лиственничного, у истоков Ангары, он ехал один в почтовой перекладной повозке. На пристани встретился с чиновником из Кяхты В. Н. Мерцаловым. Вместе сели они на пароход и пересекли Байкал. Дальше, вплоть до станции Половинки дорога их была общей, но каждый ехал на своей повозке. После этой станции Мерцалов продолжал путь на юг, к Кяхте, Бакунин же повернул на восток, к Верхнеудинску. До Читы он добрался на лошадях, а дальше пароходом сначала по Шилке, затем по Амуру; до Благовещенска он плыл на пароходе «Чита», здесь он пересел на другое судно, «Амур», на котором 2 июля и прибыл в Николаевск.

Восточная Сибирь и весь Приморский край остались позади. Путешествие его с «открытым предписанием» генерал-губернатора ни у кого не вызвало подозрений. Остался последний, но весьма важный этап — выбраться за пределы российских владений, и здесь Бакунин допустил одну непозволительную и непонятную оплошность, едва не погубившую все предприятие. Очевидно, близость столь долгожданной свободы вскружила ему голову и лишила его всякой осторожности. Встретившись с бывшим ссыльным поляком, а теперь купцом Г. Вебером, он спросил его о другом своем знакомом поляке, живущем в Николаевске, Шатынском, которому ранее послал письмо. Узнав, что Шатынский уехал из города, он попросил Вебера сходить к некоему Маюрову, получить от него это письмо и прочитать его. «Авось оно рассеет Вашу апатию и подвинет на деятельность на другом поприще». Вебер письмо получил и из него узнал планы Бакунина. Тут же он написал донос и передал его своему знакомому аудитуру военно-судной комиссии Котюхову. Тот, не теряя времени, бросился с этим сообщением к лейтенанту Афанасьеву, исполняющему в это время обязанности начальника штаба. Но, по показаниям Котюхова, тот будто бы ответил: «А нам что за дело до Бакунина, пусть себе бежит, отвечать за него будем не мы, а генерал Корсаков».[182] Бакунин же в это время, а именно 7 июля, уже успел покинуть Николаевск. Накануне тот же Афанасьев дал указания капитану клипера «Стрелок» Сухомлину взять его на борт и доставить на пост Де-Кастри, который Бакунин хотел посмотреть будто с коммерческими целями. «Стрелок» вел на буксире американское торговое судно «Викерс».

Утром они вышли в море и были еще в виду города, когда Котюхов прибежал с доносом Вебера. Времени для того, чтобы задержать беглеца, у Афанасьева было достаточно. Однако он этого не сделал. Лишь спустя два дня, 9 июля, он послал записки капитану Сухомлину и начальнику поста Де-Кастри, в которых предупреждал их о возможных намерениях Бакунина, но в то время беглец был уже далеко. В заливе Св. Ольги он пересел с клипера на судно «Викерс», которое взяло курс в открытое море. Пересаживаясь на судно, Бакунин сказал Сухомлину, что хотел бы побывать в Хакодате по делам торговли. 21 августа русский консул в Хакодате получил секретное предписание задержать там Бакунина и отправить его обратно в Николаевск. 14 сентября из Хакодате пришел ответ: «Имею честь уведомить, что Бакунин пробыл в Хакодате только один день 5 авг., отправился в Канагаву на том же судне „Викерс“... Перед отъездом Бакунин сообщил мне, что он намерен проехать в Шанхай, Нагасаки, Пекин и обратно в Иркутск, так что, вероятно, в скором времени он опять будет в России».[183]

Так, сообщив возможным преследователям ложное направление, Бакунин еще целый месяц странствовал на «Викерсе» по Татарскому проливу и лишь 5 сентября в Иокогаме ему удалось пересест на другое американское судно, следующее в Сан-Франциско.

Во время следствия по делу о побеге Бакунина на лейтенанта Афанасьева, естественно, пало подозрение. Два месяца просидел он в Трубецком бастионе Петропавловской крепости, но за недостатком улик был освобожден.

Тем не менее именно его поступок действительно помог Бакунину в столь критический момент. Случайно ли это? Одна нить в показаниях Афанасьева делает возможным построение гипотезы о его сознательном участии в организации побега. Уверяя следствие в своем незнании политических обстоятельств Бакунина и ссылаясь на «открытое предписание» Корсакова, обязывающее его внимательно отнестись к нуждам и просьбам этого путешественника, Афанасьев оговорился, однако, что и ранее был знаком с Бакуниным, встречая его у своего знакомого иркутского чиновника Бодиско.

Василий Константинович Бодиско был человеком интересным. Двоюродный брат Т. Н. Грановского, в конце 30-х — начале 40-х годов он был тесно связан с кружком Герцена, поддерживал дружеские отношения и с Бакуниным.

В начале 1850-х годов он служил чиновником в Петербурге. 31 декабря 1850 года Грановский писал о нем жене: «Вася, сверх чаяния, оказал несравненно более практического смысла: он утвержден с 15 апреля и получает жалованье... пользуется уважением и доверием начальников, и товарищи его любят. Это не мешает ему фантазировать и пороть дикую чепуху».[184]

1854–1855 годы Василий Константинович провел в Америке, где дядя его А. А. Бодиско был посланником в Вашингтоне. Очерки своих путешествий по Америке В. К. Бодиско опубликовал в «Современнике» (1856 г., № 3–6). В первые годы лондонской эмиграции, когда связи Герцена с Россией были крайне ограничены, Бодиско поддерживал с ним переписку. Письма эти до сего времени не обнаружены, но в других корреспонденциях Герцена много упоминаний о нем. Так, 5 февраля 1854 года Герцен пишет М. К. Рейхель: «От

Бод[иско] из Вашингтона получил письмо, ему очень нравится Америка, зовет туда — но мы еще погодим. Дела все интереснее становятся, и ехать теперь — похоже на бегство».[185] В 1855 году, возвращаясь в Россию, Бодиско заехал в Лондон, и с ним Герцен передал письмо московским друзьям. Дружеские отношения и перелиска между ними продолжались и в последующие годы. Так, «Письма к путешественнику», опубликованные в «Колоколе» в 1864 году, были обращены именно к Бодиско, ему же адресована и неоконченная статья Герцена «Première lettre», написанная в середине 50-х годов. В конце 50-х — начале 60-х годов Бодиско служил в Иркутске чиновником особых поручений. Здесь он возобновил свои дружеские отношения с Бакуниным, а когда в декабре 1860 года поехал за границу, то взял с собой письмо Бакунина Герцену. Очевидно, тогда же он и сообщил Герцену предполагаемый план побега Бакунина. По крайней мере Герцен пишет по этому поводу: «О его намерении уехать из Сибири мы знали несколько месяцев прежде».[186] Можно предположить, что, обсудив возможные варианты, способствующие успеху задуманного плана, Герцен передал Бакунину, что будет ждать его в Лондоне. В том письме Бакунина, прочитанном Вебером и послужившем основанием для доноса, была фраза о том, что Герцен зовет его в Лондон.

На основании этих данных нам кажется вполне уместным предположить наличие определенной договоренности между Герценом и Бакуниным, которая и осуществлялась через Бодиско. Не менее логичным кажется предположение и о том, что Бодиско привлек к плану побега своего приятеля Афанасьева, и тот в нужный момент не только переправил Бакунина в Де-Кастри, но и задержал возможную погоню.

Итак, если кто и помогал Бакунину в осуществлении его побега, то это были Герцен, Бодиско и Афанасьев. Корсаков же «виновен» лишь в снисходительном отношении к политическому преступнику, оказавшемуся в то же время его родственником и вообще человеком его круга.

Выдача Бакунину разрешения на плавание по Амуру никак не была со стороны Корсакова сознательной акцией, способствующей побегу. Да и зачем было новому генерал-губернатору так компрометировать себя, доставлять себе столь крупные неприятности? А неприятности эти, последовавшие незамедлительно, продолжались в течение всего следствия по делу о побеге.

Так, 20 февраля 1862 года Корсаков писал матери: «Между тем морально неспокойно, выговор, полученный мной за Бакунина, не выходит у меня из головы, а между тем объяснять мне на него нечего, факт тот, что Бакунин действительно бежал из Восточной Сибири».[187]

Однако в кругу родных и близких Корсакова бегство Бакунина не вызвало осуждения. Характерна приписка, которую сделал в письме к Михаилу Семеновичу (1 января 1862 года) его родственник Н. А. Мордвинов.

«Прощай, — писал он. — Молодец М. Бакунин».